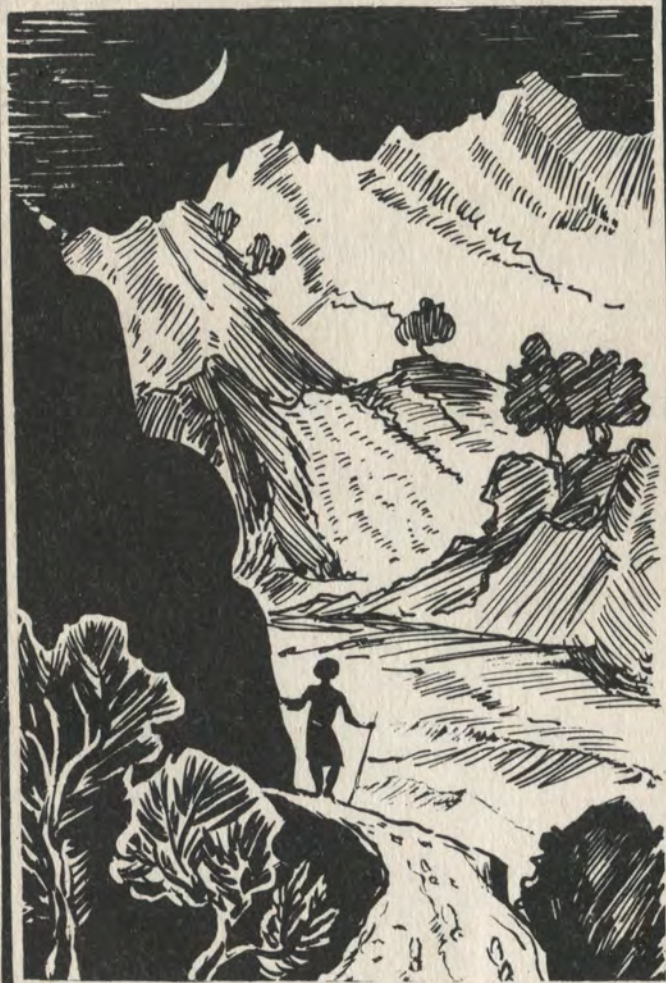


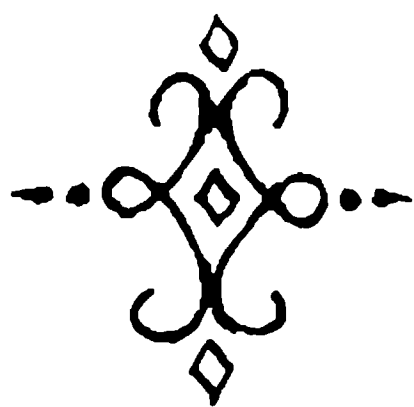
РЕДЖЕП АЛЛАЗАРОВ



ЧАРМАН-АГА



РЕДЖЕП АЛЛАНАЗАРОВ



ЧАРМАН-АГА

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ



АШХАБАД «МАҒАРЫФ» 1987

Алланазаров Р.

А 45

Чарман-ага: Повести и рассказы. Для молодежи (Реджеп Алланазаров); Перевод с туркм. А. Зырина, Т. Курдицкой, В. Аннакурбановой и др.
— А.: Магарыф; 1987. — 192 с. 60 к.

В книгу Р. Алланазарова вошли повести и рассказы, ранее издававшиеся на туркменском языке. Автор повествует о прошлом и сегодняшнем дне Туркмении. Рассказы и повести отличаются остросюжетными ситуациями, живостью, с большим теплом автор пишет о своем родном крае.

М $\frac{4803010200 - 1098}{М 552 (14) - 86} - 161 - 87$

ББК 84. Тур 7

© Издательство «Магарыф» 1987

СЫН ХАНСОЛТАН

На топчане возле небольшого уютного домика сидела женщина и вышивала тюбетейку. Ворот бархатного платья красиво облегал ее длинную шею. Глубоко вздохнув, она отложила вышивку и громко крикнула:

— Какамурад-джан, сынок, вставай!

Ответа не последовало. Женщина поднялась и не спеша пошла к дому.

— Какамурад-джан, что же ты лежишь, и сегодня не пойдешь на работу? — окликнула она парня, лежащего на полу полутемной комнаты.

Из-под простыни показалась лохматая голова:

— Мама, не приставай, занимайся своим делом, — ответил парень, однако вскоре поднялся. «И правда, так нельзя», — сказал он сам себе и вышел во двор. Умывшись, подошел к матери, которая собирала на стол.

— Какамурад-джан, почему ты так делаешь? — вновь спросила она.

— Мама, я тебе же объяснил, что не буду у дяди работать?

— Почему? — удивленно вскинула брови мать.

Какамурад глубоко вздохнул, но на вопрос не ответил, перевел разговор на другое.

— Мама, ты что так приделась? В гости к кому собралась?

— Ты же знаешь, тот человек скоро будет справлять день рождения. Мы должны закончить коврик, — недовольно ответила она.

— На коврике и надпись будет? — полюбопытствовал сын.

— А ты откуда знаешь?

— Я слышал об этом. Только не надо надпись делать...

Глаза у женщины округлились. Она с тревогой глядела на сына, очень похожего на нее лицом, что-то хотела возразить, но сын опередил:

— За вставленные зубы рассчитываешься?

— Он сказал, что вставил их бесплатно, как «подарок». А я в ответ решила вышить тюбетейку, а его же не соткать ковровую сумочку, — лепетала мать.

Увидев на тахте начатую тюбетейку, Какамурад нахмурился:

— Не смей вышивать. Я заплачу ему за твои зубы.

— Какамурад-джан, что с тобой? Ну-ка, выпей чая.

Парень сел за стол, но лицо его оставалось мрачным.

— И платье, и платок, и зубы, почти любая вещь — все в подарок. Ты что, сама не в состоянии купить это, мама? — недовольно бурчал он.

— Подарок, сувенир — что же в этом плохого, сынок, и мы тем же отвечаем.

— Мама, давай договоримся, чтобы в дальнейшем не было этих подарков.

Женщина от неожиданности поднесла руку ко рту, не мигая, с тревогой глядела на сына, глаза ее подернулись пеленой.

— В последнее время с тобой что-то происходит, Какамурад-джан, — робко заговорила она. — Только было бы все благополучно у тебя.

— За меня не волнуйся, мама.

— Все, что сделал тот человек хорошего...

Какамурад снова не сдержался:

— Мама, прекрати сейчас же эти пустые разговоры. Каждый, когда это требуется, не откажет в помощи. А он на языке у тебя постоянно...

— О чем ты, сын говоришь? Как это на языке вертится? — недоумевала мать. — Что ты вздыхаешь? Говори, что с тобой?

— Ты этого не поймешь, мама, — опустив голову, ответил Какамурад.

— Это почему же я не пойму?

Женщина так и не смогла добиться ответа. Из соседнего дома вышел человек невысокого роста, с круглым животом, обтянутым майкой, овальной головой. Женщина поспешно закрыла рот платком. Мужчина улыбаясь, подошел к ним:

— Хансолтан, закончила ли вышивку? Какамурад-джан, как дела? — Не дожидаясь ответа, тараторил он.

— Что, теперь так и будешь сидеть дома. Ты не мечись, бери пример с матери. Видишь, она, молодец, прямо-таки светится. И ты стряхни с себя хмарь, иди на работу. Поработаешь у меня еще три-четыре месяца, а там найдем для тебя другой магазин. На видном месте будет написано: «Заведующий Какамурад Комеков». Пусть все видят эту надпись, — так и сыпал он словами. — Не правда ли, Хансолтан?

Женщина покорно кивнула.

Какамурад же, не поднимая головы, сказал:

— Уважаемый, вы почему не отдаете мои документы? Сколько раз напоминать вам.

— Значит, работать не станешь? — угрожающе спросил мужчина.

— Достаточно, поработался.

— По-детски это, Какамурад-джан!.. — увещевал сосед.

— Правду говорите, я как малолетний, несмышленный ребенок.

Хансолтан превратилась вся в слух, стараясь понять сына. Но сын не говорил ничего вразумительного, тем самым озадачивая ее. Какамурад понимал состояние матери: «Да что же я до сих пор не объяснился с матерью? Рано или поздно рассказать обо всем придется.» Однако и в этот раз не сказал ей ни слова, лишь ласково взглянул и вновь обратился к соседу.

— Где же все-таки мои документы?

— У меня, в магазине.

— Тогда вы их приготовьте, Тогалак-ага. Сегодня же я их заберу. Я понял, что сами вы их не принесете.

— Ладно, Какамурад, хватит, отправляйся на работу, там разберемся, — грубо прервал его Тогалак-ага.

Какамурад промолчал.

— Как ты ведешь себя? Уважай Тогалак-ага! — не вытерпела мать. — Ты можешь толком объяснить, что произошло между вами?

Какамурад лишь махнул рукой. Хансолтан от удивления не могла больше и слова вымолвить. А сосед еще пуще разозлился:

— «Ага» величаете меня с матерью, за старика принимаете. А я ведь еще только пятидесятилетие готовлюсь отметить.

— В таком случае будем звать вас Тогалак Тонгаевич, уважаемый, — сердито выпалил Какамурад.

— Вы с матерью оставайтесь при своем мнении. Прикрывая рот платком, твоя мать тоже меня за старика принимает. А отец твой разве младше меня? Он, бедняга, ровесник мой. Правда, правда. Не веришь, спроси у матери. Не так ли Хансолтан?

Хансолтан лишь слабо улыбнулась в ответ и щеки ее слегка зарделись.

— Что спрашивать у мамы. Был бы жив отец, в этом году ему исполнилось бы сорок восемь лет, — глухо произнес Какамурад.

В это время к ним подбежала девочка лет пяти-шести и бросилась на шею парню, весело защебетала ему что-то на ухо.

Какамурад подхватил девочку на руки и закружил ее.

— Дядя Какамурад, еще, еще, — повизгивала от удовольствия малышка.

Хансолтан будто забыла все тревоги, лицо ее просияло в улыбке. Видя это, Энеш, так звали девочку, высоводилась из рук Какамурада и бросилась в объятия Хансолтан. Тогалак Тонгаевич сердито глянул на дочь. А она, увидев на тахте тюбетейку, спросила:

— Кому ты вышиваешь тюбетейку, тетя?

— Твоему папе.

— Папе не шей. Дай мне ее. Ладно, тетя?

— Ты же девочка, а эта тюбетейка для мальчика.

— Тогда сшей ее для моего брата Чары.

Тогалак Тонгаевич наморщил лоб:

— Что, дочка, считаешь, новая тюбетейка не к лицу твоему отцу?

— Ты старый, а старики новые тюбетейки не носят, — засмеялась Энеш и захлопала в ладоши.

— Ах ты, негодница, все меня за старика принимают, — окончательно вышел из себя Тогалак Тонгаевич. — Беги сейчас же домой.

Девочка быстро слезла с рук и побежала домой. На пороге подняла конверт:

— Письмо, папа письмо! От Чары пришло! От Чары — девочка вновь подбежала к отцу.

— Точно, от Чары, Энеш-джан. Иди-ка маму позови. Почитаем вместе, что пишет солдат, — Тогалак Тонгаевич распечатал конверт.

У Тогалака Тонгаевича в свое время было четыре сына и три дочери. После землетрясения в живых остался самый младший — Чары. После службы в армии он остался на сверхсрочной. Раз в год Чары приезжал к родителям в отпуск. А Энеш родилась много позже.

— От Чары-джана пришло? Что пишет сынок? — женщина неспешно опустилась рядом с Хансолтан. — Какамурад-джан, ну-ка прочти письмо вслух.

«Поклон вам с письмом! — начал Какамурад. — От военнослужащего сына Чары солдатский привет отцу, матери, сестренке Энеш, тетушке Хансолтан, брату Какамураду. Отец, как твои дела? Все ли в порядке? Теперь уже время идти тебе на пенсию...

— Вот, негодяй. «Идти на пенсию...» Что ж, я, старик? — возмущался Тогалак.

— Погоди же, пусть читает. Какамурад, верблюжонок мой, читай дальше.

«...Какамурад, учишься ли ты? Тетя Хансолтан, Какамурад, шлю вам сердечный привет. Ваши письмо и посылку получил. Большое спасибо. И я вам приготовил подарки. Вручу сам, когда приеду в отпуск. Потом все вместе отправимся в Чули, в ущелье, отец приготовит нам плов...

— Отец, видно, больше ни на что не годится. Ох, подлец. В последнее время все письма в таком духе от него, — ворчал Тогалак.

Жену Тогалак Тонгаевича звали Тачбиби-эдже. Она была мастерица ткать ковры. До ухода на пенсию трудилась в ковроткацкой артели. Недовольная, что муж прерывает чтение письма, она сказала:

— Если годишься для этого, что тебе еще нужно, ссдой уж весь...

— Не распространяйся особо о моей седине, жена. Вдвоем с сыном рано списываете меня, — и ища сочувствия, повернулся к Хансолтан.

Но она все также молчаливо улыбалась своим мыслям.

— Тогалак-ага, тут еще несколько строк: «Приеду в отпуск, женю отца», — прибавил от себя Какамурад и беспечно рассмеялся. Засмеялись и все остальные. А То-

галак Тонгаевич, многозначительно посмотрел на Хансолтан и сказал:

— Отец свой пуп, как говорится, сам отрежет. А если он нашел кого, пусть женится, не ходит как олух.

Родители часто напоминали сыну, что пора бы ему жениться. Но Чары отмалчивался и на их увещевания отвечал: «Обо мне не беспокойтесь, сам женюсь. Нежданно-негаданно приглашу вас на той»,—отшучивался он.

— Не кори сына. Если можешь свой пуп сам обрезать, вон нож, отхвати, и делу конец, — сказала вдруг сердито Тачбиби и обратилась к Хансолтан: — милая, ты и в выходной пойдешь ткать коврик?

— Развяжусь с ним побыстрее, мать Энеш. Да и Тогалак-ага, кажется, торопится.

— Тогда я к вашему приходу плов готовлю. Какамурад-джан, сынок, забей двух петухов.

— Тетя, когда мать перестанет жить за ваш счет. Заработок на сберкнижку кладет, плов у вас ест, — насупившись, спросил Какамурад.

— Мать собирает деньги, чтоб тебя женить, сынок, — спокойно пояснила соседка. — А потом, неудобно как-то здоровому парню вести разговор о мелочах.

От последних слов лицо Какамурада залилось краской, и он направился к курятнику. Не отрывая от парня глаз, Тачбиби шепнула:

— Опять не хочет идти на работу?

— Пойдет. Только не трогайте его.

Какамурад, поймав и зарубив петухов, вновь присел около матери. К ним подошел Тогалак Тонгаевич, весь благоухающий, в свежей сорочке.

— Тогалак-ага, вы какую надпись желаете сделать на коврике? — спокойно спросил Какамурад.

Тогалак Тонгаевич промолчал. Он давно мечтал занять свой портрет. И обратился с просьбой к Хансолтан, которая не могла ему отказать, он это знал. Он и деньги отдал ей немалые. И при этом сказал:

— У меня еще просьба одна есть: внизу коврика сделай такую надпись: «Тогалаку на память от Хансолтан».

Эта просьба была тяжела для Хансолтан. Она считала такую надпись неприличной. Потому и молчала. Тогалак и сам понимал, что подобная надпись бросает

тень на женщину, но, не встретив возражения с ее стороны, сделал вид, что он ничего не понимает, не чувствует неловкости. Поэтому, не скрывая пояснил:

— Какамурад-джан, я забочусь о вашей чести, авторитете. Но и вы должны понять меня. Как хорошо было бы, если бы твоя мать преподнесла мне коврик с такой надписью!

— Нельзя считать подарком вещь, за которую уплачены деньги. Узнают, засмеют, — резонно заметил Какамурад.

— А кто узнает об этом, — не соглашался Тогалак Тонгаевич, вытирая полотенцем пот с короткой шеи и лица. — Какамурад-джан, если ты позавтракал, отправляйся в магазин, а следом и я приду, только чайку выпью, — он протянул парню ключи от склада.

Какамурад отвернулся. Тогалак-ага, тяжело вздохнув, направился к гаражу, бурча про себя: «Видно не будет толку от него. Думал, что вразумил его, а, выходит, нет. Ничего путного не получится».

А Какамурад вновь напустился на мать, та еле отбивалась от него.

— Да мы пока и ткать-то не закончили. Что ты так волнуешься.

— Мама, если ты желаешь, делай подарки Тогалаку-ага, только за свой счет.

— И так сделаю, почему не сделать.

— Это все! Надпись на коврике ты не сделаешь!

— Тихо. Сосед услышит, обидится.

Какамурад лишь махнул рукой. У Хансолтан же округлились глаза. Подглядывая тем временем в щель гаража и слыша весь разговор, Тогалак Тонгаевич ушел в свои мысли: «Ты, пацан, машешь рукой, в последние дни по-иному ведешь себя. Или мать отговорить старается этот негодник? Да не так уж он и дорожит своей честью. Слухам разных людишек верит. Давай, давай. Мог бы и я сделать, что забыл бы ты имя своей матери... Эх, Хансолтан, хорошая ты женщина однако. Ты меня без веревки повязала...» Он жадно пожирал женщину глазами: «Погляди на талию, на талию! Как осиная. Пальцы гибкие, как пиявки, — тихо шептал он. — Шея, словно у лебедя...» Так вся и сияет. Не сравнится с Хансолтан никакая другая женщина, воспетая даже поэтами. Видимо, с нее они писали портрет... А какое

тело у нее? Гибкое, стройное, так и светится, словно тронутое лучами», — вздыхал вождеденно Тогалак.

Какамурад одетый вышел из дома. Тогалак выскочил из гаража. Глядя парню в глаза, он бросил ключи от склада Хансолтан, но их перехватил Какамурад.

— Тогалак-ага, вы быстрее приходите, — крикнул он соседу.

— Сейчас, Какамурад-джан, сейчас! Пналку чая выпью и следом за тобой. Только ты меня не жди, отпущай ребятам товары, — поспешно сказал Тогалак, направляясь в дом.

Хансолтан, как ветер, вылетела из дома и вместе с сыном вышла за ворота. Она шла и радовалась, что сын опять будет работать с их благодетелем.

— Сынок, нет ничего лучше, чем согласие и единодушие, — наставляла она сына. — Вот сегодня для меня мир будто шире стал. Поступай так и дальше, сынок. Сосед нам ничего плохого не желает. Сам знаешь, не сосчитать, сколько он добра нам сделал. Обидишь его, я не прощу этого. Да и его дети привязаны к нам. Эх, да разве можно противоречить такому человеку? — Она вновь попыталась выяснить причину недавней размолвки. — Все-таки, Какамурад-джан, за что же ты держишь обиду на этого благородного человека?

Какамурад шел молча, опустив голову. «И правда, много хорошего сделал нам Тогалак-ага. И дети его меня за брата считают. Но... Нет, причины я матери не скажу. Она ангелом хранителем его считает. Скажу еще раз все ему в лицо. Исправится — буду работать, буду уважать. Не исправится — уйду», — думал он про себя.

— Мама, Тогалак-ага ничего плохого мне не сделал, — успокоил он мать. — Пока Тогалак-ага приедет, время есть. Немного пройду, — и он направился в сторону базара.

• • •

Тачбиби-эдже тоже строила про себя догадки в отношении размолвки сына соседки с мужем. Она подошла к мужу, возившемуся возле машины.

— Если бы ты работал по совести, такого бы не было бы, — бросила она с упреком.

Тогалак Тонгаевич вздрогнул, будто его укололи иглой, закричал:

— Ты этим бестолковым разговором иссушила мне уши. Прекрати, наконец, надоело! — А думал он о другом: «Все мои богатства для Хансолтан. Только с нею желаю блаженствовать. На лучшие курорты могли бы ездить каждый год», — эти мысли не покидали его ни на минуту. Понимал, что жене их говорить нельзя, и злился, что она не разделяет его чувств.

Тачбиби-эдже покачала головой.

— Что качаешь головой? Что неположенного я делаю? — повысил он голос. — Скажи?

Однако на его совести было немало нечистых дел: в то время, когда во многих домах не наедались досыта хлеба, в его доме ели плов. И в период войны здесь не было проблемы с мясом, хлебом, одеждой. А в последнее время деньги в карман так и лились рекой. Тачбиби-эдже понимала, что не с неба все падало. Но богатство — вещь сладостная, приятная. К тому же нелегко идти против того, с кем делишь кров. Но когда во время землетрясения лишилась детей, в ее сердце запала тревога. «Присваиваешь чужую долю, от этого все беды», — сказала как-то мужу в сердцах. «Кто допустит, чтобы его долю взяли. Заеваешься, любой готов тебе подножку подставить», — возразил Тогалак Тонгаевич в свое оправдание.

— Не повышай голос, а лучше подумай, — пыталась урезонить мужа. — Сколько жить тебе осталось? Пожил бы остаток спокойно. Мышь зашуршит, уже дрожишь. Хватит, перестань, иди на пенсию.

Тогалак Тонгаевич разозлился не на шутку, глаза его сверкнули гневом. Однако ничего резонного ответить жене не смог.

— Ничего недозволенного я не делаю и особого богатства не имею. Вон, в других домах богатства — не пробьешь. А меня ты считаешь подлецом, уличаешь во всем, подозреваешь аллах не ведает в чем.

Тачбиби-эдже спросила:

— Отчего, тогда Какамурад такой взъерошенный?

— От жира и баран бесится!

— Что-то мне опять не верится.

— Э, да прекрати ты меня пилить! Я работаю чест-

но, к тому же ведется всему учет. Не туда ступишь, сразу видно.

Последние слова несколько успокоили Тачбиби-эдже «Лишь бы работал сам честно, остальное все ерунда», — подумала она.

— А что за просьба у тебя к Хансолтан, — допытывалась она. Разве она может выткать такую надпись? Не стыдно тебе? Видимо, это и сына ее обижает.

— Чтоб сгинул этот сын, не знакомо ему чувство благодарности за все хорошее, подлый!

— Другой причины я не вижу, с каждым днем становится все не приветливее. Меня это сильно беспокоит. Ты перестань вести разговоры о своем пятидесятилетии, помирись с Какамурадом. Может он обиделся, что ты устроил его учиться заочно?

В тот год, когда Какамурад закончил десятый класс, Тогалак Тонгаевич взял его к себе в магазин.

— Поработай здесь, — сказал он. — Считай, что практику проходишь. В следующем году устрою тебя учиться в торговый институт.

Какамурад согласился. Отпускал товары с «черного хода» тем, кому велел Тогалак Тонгаевич. Однако вскоре Какамурада призвали в армию. Тогалак Тонгаевич и здесь пытался помочь, но парень воспротивился:

— Не помешает, посмотрю страну. Не буду хуже своих ровесников.

Прошло незаметно два года. Какамурад вернулся. При встрече Тогалак-ага сказал:

— Два года вдали от дома был. Зачем уезжать? Я устрою тебя на заочное отделение.

Это предложение горячо поддержали и женщины. И Какамурад поступил на заочное отделение Самаркандского института торговли, снова стал работать на складе.

Какамурад должен был открывать склад рано утром до того, как придут на работу продавцы. Отпустив им товар, он обязан был готовить обед. Так приказал Тогалак Тонгаевич.

Не успел Какамурад и в этот раз отпустить товар, как в дверь склада тихо постучали, на пороге стояла высокая, с тонкой талией, девушка:

— Какамурадик, здравствуй, — пропела она и подала бумажку с знакомым почерком: «Отпусти коробку

«раковой шейки» и коробку конфет «Каракум», посади ее на такси».

Какамурад уставился на девуцу:

— Что, неясно написано? — играя глазами, спросила она.

— Ясно-то — ясно...

— Тогда вначале поймайте такси.

Закрыв склад, юноша вышел на улицу. Простоял около получаса, наконец, остановил такси, подъехал к складу. Здесь стояли еще двое, озираясь по сторонам.

После работы он обо всем доложил Тогалак-ага. Тот лишь замахал руками:

— Ты, смотри, не говори об этом дома, при женщинах!

Наутро Тогалак Тонгаевич привез с центрального склада новую партию товаров.

— Как тебе понравилась вчерашняя девушка? — он ткнул в бок Какамурада, игриво хихикая.

Парень не ответил на шутку, только спросил:

— Тогалак-ага, я отпускаю этим людям по твоим запискам товар, а ты хоть берешь с них деньги? А то станешь вдруг должником.

Тогалак Тонгаевич рассмеялся.

— Какамурад-джан, ни о чем не беспокойся, — и он похлопал парня по плечу.

Мысли же Какамурада вертелись вокруг одного. «Этот старик сделался игрушкой у вертушек с выщипанными бровями. Залезает в долги, придется все сбережения Тачбиби-эдже отдать. Сам же в тюрьму попадет».

Его мысли прервали стук в дверь.

Вошедший поприветствовал Тогалак Тонгаевича. И вновь приказ:

— Какамурад-джан, брось-ка в машину этого джигита мешок ташаузского риса.

Какамурад молча взвалил мешок и отнес его в машину. Вернувшись, он услышал:

— Ты что это так дерешь? — возмущался покупатель.

Глаза у Какамурада сузились. Закусив палец, он подумал: «Я боялся, что он растрату сделает, а тут вот какое дело... Что же он чужое присваивает?! Почему не дал человеку сдачу? Если еще раз так сделает, скажу ему в лицо, — успокоил себя юноша.

Но, как говорится, от того, к чему привык, и на веревке не утащишь. Тогалак Тонгаевич продолжал надуть своих покупателей. Однажды Какамурад не выдержал:

— Тогалак-ага, почему мы делим покупателей на две категории? — прямо спросил он.

— Это же знакомые, друзья-приятели, — спокойно ответил он.

— Почему многие дефицитные товары держим на складе?

— Для твоих же друзей-приятелей.

— Давайте не будем так делать, Тогалак-ага.

— Ты, как ребенок, Какамурад-джан.

— Может быть, но все-таки не будем, Тогалак-ага. И мои друзья, и твои пусть покупают там, где и все люди.

Не слыша от парня до сих пор возражений, Тогалак Тонгаевич его слова истолковал как детскую неопытность.

— Ладно, Какамурад-джан, в дальнейшем так и будем делать, спокойно ответил он.

Но дело к лучшему не изменилось. Какамурад по-прежнему по устным и письменным указаниям Тогалака Тонгаевича усердно отпускал дефицитные товары друзьям-приятелям.

— Тогалак-ага, я вам добра желаю. Прекратим эти занятия, — попытался вновь уговорить юноша завмага.

Тогалаку Тонгаевичу всегда в деле сопутствовала удача. Однако на этот раз сердце его дрогнуло. Но он вспомнил желанный образ Хансолтан и сдержался.

— Ты обидел меня, Какамурад, своими подозрениями. Иди на свое место, после объяснимся.

Они так и не смогли понять друг друга. Тогалак-ага продолжал свои «темные» делишки. И наконец, Какамурад положил перед ним ключи от склада.

— Я работать не буду, — заявил он и вышел.

Тогалак Тонгаевич об их размолвке не сказал жене, держал все в тайне.

— Если он доволен учебой, работа ему нравится, почему же не хочет с тобой работать? — с недоверием повторила вопрос Тачбиби.

— Давай-ка прекратим этот разговор, — отмахнулся Тогалак, и, забыв про чай, сел в машину и без настрое-

ния поехал в магазин. Проехав немного, он стал ругать себя: «Что я забочусь о нем? Он кто и кто я? Не хочет работать, ну и черт с ним. Освобожу его. Руководители мне слова поперек не говорят. Тридцать лет в торговле. «Отличник торговли». План перевыполняю». И вновь он вспомнил Хансолтан. И снова ее образ вытеснил все дурные мысли. Тогалак Тонгаевич передернул плечами, сжал зубы: «Главное — задуманное дело. Выйдет оно, все будет в порядке, — заговорил сам с собой. — Ради этого я должен все терпеть». Неужели никогда не обернется благом то хорошее, что я сделал для них? Ох, все было, однако... — Снова перед глазами возникло лицо Какамурада. — Эх! Безголовый я. Пока он был мал, не понимал, когда нужно было действовать. Тогда...»

Когда Какамурад был мал, Тогалак крутился бабочкой вокруг Хансолтан, но не мог сесть на цветок. Успокоившись в душе, дожил до сегодняшнего дня. После того, как Хансолтан устроилась на работу и получила первую зарплату, он устроил небольшое торжество. А когда ей исполнилось двадцать пять лет, приподнес в подарок красный шерстяной платок. В другой раз — ковер.

Хансолтан воспринимала это небезответно. Она вышила галстук для Тогалака, делала подарки его детям, помогала по дому его жене. Словом, она не чуралась никакой работы, считая Тогалака Тонгаевича за близкого родственника.

— Эй, это ее родственное отношение ко мне мучает меня, — сообразил, наконец, Тогалак, придя в магазин. — Если придет, отдам ему документы. И вообще, построже надо быть с ним. Посмотрим тогда, что будет. Не придет ли тогда его мать со словами: «Тогалак, ты забыл нас?» Тогда я... хм, глупый! Раньше надо было так, раньше! Когда не знала, куда поступить на работу, что делать, не надо было спешить, пусть бы сама все утрясла. Ты думал, что поймет, и на добро ответит добром. Где же это понятие? Теперь сама до всего дойдет. Теперь-то не обратится ко мне. Эх...»

Тогалак Тонгаевич потрогал рукой лоб. «Нет глупца, подобного мне. Сколько было подходящих моментов. Когда сын чуть не сел за решетку, что бы ни сказал, все выполнила бы. Однако... — он ударил себя рукой по лбу. Винил он Хансолтан: «Эх, Хансолтан не та женщи-

на, которая знает добру цену. Видела же, что минимум три года принудительных работ сыну грозило. Я освободил. И тогда не поняла Хансолтан».

Тогда Хансолтан, как он припоминал теперь, проявила свою благодарность по-своему: целый месяц помогала Тачбиби валять кошмы.

«Эх, Хансолтан, все понимаешь ты, только такого понимания мне не надо. Пойми ты это, Хансолтан... Нет, я не должен отпускать ее сына от себя. Все нужно сделать, но уговорить его. Он, чертов сын, все чувствует. Уйдет, все испортит. И мать отгораживает от меня», — Тогалак сузил глаза, уставившись в одну точку. Долго сидел оцепенев, затем снова заговорил: — Поработает еще месяцев пять-шесть... глядишь и Хансолтан уговорить можно... Эх, если бы удалось уговорить! Тогда все было бы в порядке! Если не согласится, на сына повешу три-четыре тысячи рублей. Посмотрю, как они смогут тогда расплатиться».

«Она мое богатство и радость. Когда я вижу ее, все печали и волнения, весь мир забываю. Ох, — шептал он иступленно. — Здесь когда-то Хансолтан убирала, когда ей было лишь семнадцать-восемнадцать лет. Почему тогда я не взял ее за белые руки? Глупец, пустая голова! Теперь она умудренная жизнью женщина. К тому же сын... Это чертово исчадие все путает. И что за сердце у самой Хансолтан? Неужто она не желает мужчину. Ведь молодой осталась без мужа?» — и опять бредовые мысли поскакали одна за другой.

Сердце его разрывалось от боли и обиды за несостоявшееся счастье.

* * *

Он родился в одном из песчаных урочищ. Танга-ага сына своего с ранних лет взял в Хи́ву, определил на учебу мулле. Научившись кое-как писать, Тогалак стал помогать отцу в его торговых делах, пересчитывать байский скот в песках. Тогалак тайком продал весь отцовский скот, выручил немало денег. На них он приобрел в Ашхабаде тенистый двор и дом, устроился на работу в торговлю. В год окончания войны пришел к нему какой-то джигит:

— Почтенный, у вас нет ли работы?

Тогалак Тонгаевич сразу смекнул, что парень недавно вернулся с фронта:

— Работа найдется. Но как ты будешь таскать из подвала стокилограммовые мешки с мукой? — поинтересовался он. — Где живешь?

— В селе.

— Далековато. С рассветом надо быть в магазине. Как ты будешь успевать.

— Успею. Есть велосипед.

— А как с женой?..

— Приходи с женой, а там посмотрим.

Наутро перед ним стояли совсем молоденькая Хансолтан с мужем Комеком. Тогалак Тонгаевич, пораженный, раскрыв рот, смотрел на красавицу Хансолтан. Наконец, обратился к Комеку:

— Тебе сколько лет?

— Двадцать пятый.

— А вам, невестка, сколько?

Вместо нее ответил Комек:

— Ей недавно исполнилось семнадцать.

— Это ничего, что муж старше жены на пять-десять лет, — растерянно пробормотал он. — Не так ли, молодница?

Комек поведал, что он сирота, после фронта познакомился с Хансолтан, полюбил девушку и они совсем недавно поженились.

— И я один. Будешь хорошо работать, дам тебе приют в своем дворе. Нельзя же заставлять молодую жену ездить всякий раз издалека, — сказал Тогалак и сообщил, что берет Комека грузчиком, а Хансолтан — уборщицей.

Не прошло и месяца, как он построил во дворе для Хансолтан и Комека глиняную кибитку.

Молодые вместе являлись на работу и уходили вдвоем. Они были довольны и работой, и жизнью, с соседями жили в согласии.

Однако вскоре случилось несчастье — не стало Комека. После этого Хансолтан не захотела оставаться в магазине. Как ни уговаривал Тогалак, она осталась непреклонной.

— Пусть черт шею свернет, чем твою душу стану тревожить, Хансолтан. Куда ни скажешь, устрою на любую работу. Подожди немного. А пока займись этим, — указывая на рис и масло, сказал он и объяснил, по какой цене все продавать.

И Хансолтан занялась торговлей. Приходили на дом, платили вдвое больше настоящей стоимости. «При виде золота и Хидыр развратился». Подобные сделки затянули и Хансолтан. «Мне ничего не отдавай, бери себе все», — увивался вокруг нее Тогалак.

Однажды Хансолтан не выдержала и обратилась к Тачбиби:

— Уважаемая Тачбиби-эдже, мне сегодня так стыдно стало, — и она поведала подслушанный разговор соседок. «Если денег много, риса — сколько пожелаешь можно достать. Зайди только вот в этот дом, там есть одна красавица-молодуха. Она отвесит».

— Ой, Хансолтан-джан, свет мой. Как говорится, даже если под землей змея шевельнется, известно станет. Конец один — рано или поздно обо всех делах узнают... — и Тачбиби-эдже посоветовала: — Устройся лучше на какую-нибудь работу... Или идем к нам.

— Ох, не смогу я ковры ткать.

— Научишься.

— Тогда скажи деду, мать Энеш.

— Зачем ему говорить?

— Чтоб не ворчал, что не посоветовались.

Услышав подобное, Тогалак напустился на жену:

— Можно ли пускать на фабрику молодую незамужнюю женщину? Матери ее и братьям не понравится, если узнают, что на фабрику ее устроили. Поищем что-нибудь другое, — категорично заявил он.

Хансолтан не продавала больше ни рис, ни масло. Вздохнула свободно, но ненадолго. — Тогалак принес шерстяные платки. Теперь каждую неделю приходилось ходить на толкучку. Хансолтан терялась там, трепетала. Как-то, вернувшись с базара бледнее обычного, заявила «Чуть было дух не испустила».

— Ты ничего не бойся. Попадешься — сам освобожу, — заявил Тогалак-ага.

Эти слова несколько успокоили молодую женщину, подняли настроение, но опять ненадолго. «Что у меня семеро по лавкам? Что я делаю? Ловчу, избегаю людей? Чем так жить, прячась, лучше на улице просить подаяние». И не слушая больше Тогалак-ага, она пошла с Тачбиби-эдже в ковровую артель.

Хансолтан сделалось плохо, когда она, придя с работы, услышала, что Какамурад вернул ключи от склада

Тогалаку Тонгаевичу. Озабоченная, она просидела до наступления темноты. Шел уже двенадцатый час ночи, а сына все не было. Тачбиби-эдже успокаивала ее:

— Ложись спать, Хансолтан-джан. Придут. Может где засиделись.—И чтобы отвлечь ее от тревожных мыслей поинтересовалась: — О какой надписи на коврике вел разговор отец?

Хансолтан смутилась:

— После того, как я взяла деньги, не могу выткать эту надпись. И Какамурад говорит, что это неприлично... — осеклась молодая женщина. — Мы, Тачбиби-эдже, должны памятник поставить отцу Энеш. Когда Какамурад-джан встанет на ноги, отцу Энеш я от себя сотку ковер и с надписью.

— Зачем? Не надо. Какую же особую помощь оказал он вам. А если будет настаивать, выткните просто свою фамилию. А теперь спи.

Хансолтан сморил сон, но был он беспокойным, опять всплывали картины прошлого.

Хансолтан была беременна, подходил срок родов. С мужем разговаривали о будущем ребенке и в ту ночь легли спать поздно. И только забылись в сладком сне, как слышался какой-то гул, а затем и грохот. Шум, крики, стон поднялись до неба. Хансолтан, не понимая, почему все валится, стонала. Земля продолжала колебаться, стены валялись с грохотом, поднимая пыль, укрывая под обломками мирно спящих людей.

Хансолтан вытащил из-под обломков Тогалак-ага. Раскопал он и Комека, но он был уже мертв.

Хансолтан металась по земле. Ее дитяти настал час появиться на свет. «Где Комек? Где Комек?» — тихо стонала она. — «Комек здесь. Ты о нем не беспокойся, о себе думай, Хансолтан», — успокаивал Тогалак.

И вскоре раздался крик ребенка — родился на свет новый человек вместо ушедшего.

...У Комека не было близких родственников, а у Хансолтан в селе жили мать и братья. «Теперь дочери нечего делать в городе, привезите ее домой», — наказывала мать сыновьям. Тогалак предчувствовал это и специально съездил в Баку, куда отправили Хансолтан. «Ни о чем не беспокойся, Хансолтан. Пока голова у меня на плечах, не допущу, чтоб вы бедствовали. Поправисься — будешь жить с ребенком у меня, работать на преж-

нем месте, — говорил он, выкладывая перед женщиной различные подарки. — У нас все хорошо. Тачбиби с Чары-джаном ждут тебя».

Вскоре Хансолтан поправилась и вернулась домой.

— Праздник, порой, приходит вместе с печалью, Хансолтан. Это бедствие свалилось не только на тебя. Постарайся быть мужественной, — встретил ее Тогалак-ага. Он же посоветовал дать ребенку имя отца, устроил той. — Обижусь, если переедете от нас, — заявил он.

— Вы нам не будете обузой, — от чистого сердца сказала Тачбиби-эдже.

И Хансолтан не поехала в родное село, твердо заявив братьям:

— Я здесь не одна. Отца Чары-джана я как своего почитаю. Он поможет нам с Какамурад-джаном поддержать хозяйство, здесь похоронен мой муж, отец моего ребенка. И я отсюда не перееду.

Тогалак Тонгеевич помог Хансолтан построить новый дом. И сам рядом построился. Вот так, рядышком, и живут они более двадцати лет. Родившийся в ночь землетрясения Какамурад стал крепким, сильным джигитом.

...Тогалак Тонгаевич сам повел его за руку в первый класс. Когда тот был малышом, сажал его на плечи и катал. Кажется, Какамурад совсем недавно с восторгом и волнением ездил в машине Тогалака Тонгаевича. И вот что-то случилось... Или он, как утверждает Тогалак-ага, ревнует меня?

Так показалось однажды и самой Хансолтан. Однако она не могла и мысли допустить об этом. «Нет, нет, Какамурад-джан так не думает. Ничего же нет такого, чтобы заподозрить недоброе. Отец Энеш лишь изредка, может, пошутить, но не позволяет себе даже слова невежливого сказать. Не то, чтобы упрекнуть... Какамурад-джан знает об этом. Он не из тех, кто подозревает, ревнует мать».

«Что же произошло теперь? Не могу понять?» — эта неотвязная мысль не давала покоя, и Хансолтан не могла заснуть. Она встала, вышла во двор и села на топчан. Тачбиби, заслышав шаги соседки, тоже поднялась.

— Голубушка, что же ты не ложишься? Не беспокойся, придут.

— Поздно уже, может, поискать их. Соседей попросить...

— Не следует тревожить соседей, да и где их искать среди ночи? — Тачбиби-эдже говорила спокойно, чтобы успокоить Хансолтан. — Лучше неси сюда пару одеял, прилягу вместе с тобой.

И очень скоро они заснули. Не слышали, когда пришел Какамурад.

Он перепрыгнул через забор, прошел в свою комнату и закрыл ее изнутри на крючок. Лежал, уставившись взглядом на темный потолок, вспоминая последний разговор со своим «наставником». Разговоров было немало. Какамурад повторял их про себя. Вместо старых аргументов, которые теперь ему казались неуместными, он приводил все новые и новые.

— Эх! — он вдруг вскочил, сел на кровать и заговорил сам с собой: — Зачем так сделал? Да, зачем? — Его начало трясти. Ему представилось, как он, не сдержавшись, схватил в подвале пятикилограммовую гирю, поднял ее, и в этот момент Тогалак Тонгаевич произнес: «Чтобы опустить ее мне на голову, нужно иметь храбрость, которой у тебя нет. Сопляк! Неблагодарный, непомнящий добра!» Все это явственно прозвучало в ушах парня, как током пронзило мозг: «Ах так, — сказал он и опустил гирю на голову Тогалаку Тонгаевичу. — Вот теперь нормально», — и он вздохнул облегченно. Вдруг послышался крик, появились милиционеры. Следователь стал задавать вопросы.

— Вы и раньше совершали преступление?

— Я стоял за правду.

— Вы знали, что за подобное полагается не менее трех лет?

— Я согласен. За справедливость.

— За правое дело у нас не лишают свободы. То, что вы совершили — самое настоящее преступление.

— Я не считаю это преступлением...

— Почему?

— Потому что...

* * *

Какамурад спустился в подвал магазина. Тогалак-ага был на месте.

— Тогалак-ага, я тороплюсь. Отдай документы, я пойду, — сказал Какамурад.

— Значит, не желаешь работать у меня в магазине?

— Не желаю. Перейду в магазин промышленных товаров.

— Глупец. Государство быстро удовлетворит потребности людей в промышленных товарах. Уже сейчас в них избыток. Продавцы скучают от безделья. А у нас весы всегда будут работать. А если они работают... — Тогалак-ага многозначительно улыбнулся.

— Четыре месяца я работал с вами, Тогалак-ага. И не сосчитать, сколько преступлений совершил за это время. Хорошо, если до конца своих дней удастся смыть вину, — грустно сказал Какамурад.

— Я относился к тебе как к своему ребенку. Поверил тебе, доверил ключи от склада. Люди сейчас сыты, не считаются ни с чем. А ты лезешь в дебри, в высокую материю. Упрекаешь: «Держишь дефицитные товары, дорого продаешь». Конечно, так нельзя, я это понимаю. Однако, чтобы получить что-то со склада, я тоже должен дать кое-что.

— Это почему же? — удивился Какамурад.

— Чтобы выполнить план, получить прогрессивку. Если не дашь, разве выделяют тебе тонну первосортной белой муки?

— Разве сейчас война? Голод?

— Да не голод, в том-то и дело, изобилие... И все недоразумения как раз от изобилия, достатка. Высортной муки в каждом магазине полно. Но людям, видите ли, нужна мука первого сорта. Женщины говорят, из муки высшего сорта трудно замешивать тесто, будто липнет оно к рукам и плохо держится в тамдыре. Поэтому они не ведут разговор о лишних трех-пяти рублях, и не ропщут, когда приходится платить за муку первого сорта по цене высшего.

— Не согласен я с вами, Тогалак-ага, и не помощник вам больше. И вам советую бросить это дело? Открыто торгуйте.

— Советую!.. Открыто торгуйте!.. Что, в магазине нет конфет или риса? Конфет сортов двадцать, риса — три. Однако, Какамурад-джан, и при таком изобилии люди чего-то особенного желают. И если ты достанешь кому-то, он будет считать тебя уважаемым человеком. Так сейчас люди живут: друг другу почести, услуги, уважение...

— Если продавать товар по своей стоимости, это вызовет еще больший почет и уважение, — стоял на своем Какамурад.

— Ох-хо, о чем он говорит! Да если я и дам сдачу, люди не возьмут. Не веришь, сам проверь. И давай закончим на этом наш спор, меня не переспоришь.

— Нет, вы людям не добро делаете, а просто-напросто набиваете себе карман.

— Я делаю это не ради своего кармана. У меня доход неплохой. Государство, во-первых, установило нормы естественных потерь. Во-вторых, план. Если его выполнять, премии дают. Да я и не заставляю людей лишние платить, сами дают.

— Правильно, народ великодушен. Люди раскошеляются перед такими, как вы, взвалили потерявших стыд себе на плечи и носят. Но если в кармане не будет четырех копеек, в автобус не сядешь, пойдешь пешком. Вам же четыре копейки не деньги, в расчет не берете, а из копеек рубли наплывают. Просто совести у вас нет.

Тогалак Тонгаевич сузил глаза. Его ноздри стали подрагивать, лицо налилось краской. Какамурад, однако, сдержанно спросил:

— Что, обиделись, Тогалак-ага?

— Я просто удивляюсь, как ты можешь говорить такие слова. Тридцать пять лет я отдал торговле. У меня звания «Ударник коммунистического труда», «Отличник советской торговли». А твой разговор.

— Тогалак-ага, может, вы и достойны тех званий, но я отвечаю только в тон вашему разговору...

— Вот это другое дело! — восторженно потер руки Тогалак-ага. — Какамурад-джан, торговля, как азартная игра в альчики. Опасно, если не найдешь достойного напарника. Ты свой, поэтому хочу, чтобы ты был рядом. Пойми!

— Понимаю, — бесстрастно ответил Какамурад.

— Книги читаешь? — вдруг спросил Тогалак Тонгаевич.

— Читаю, — удивленно ответил Какамурад.

— Хочешь быть положительным героем, так?

— А почему бы и не так? Герои книг взяты из жизни.

— Вот в этом твоя слабость, Какамурад. Книжки выдумывают писатели, пишут за пять минут. Если не на-

пишут так, как велено, им и медной копейки не дадут. Ты пойми это и не мучайся понапрасну. Заботься лучше, чтобы самому жилось благополучно...

Какамурад весь предался разговору, уставился взглядом в одну точку, пальцами постукивал по столу.

— Да, у вас есть чему поучиться, Тогалак-ага... — многозначительно и протяжно произнес он. — Вы дрессировали своих покупателей, научили их, как выражаетесь сами, «уважать» себя. Однако не забывайте, все это до поры до времени и все наказуемо.

— Кто накажет? Инспекторы, ревизоры?

— Не только они. Есть еще и общественность.

— Писатели, что ли, журналисты? Я расскажу тебе один случай про них. Однажды, на дворе уже сумерки сгустились, пришел один. Высокого роста, худой, голова, как яйцо, блестит. Сам — из пишущих. Немного знаю его. Чувствовалось явно, что слегка навеселе. «Дай пачку «Беломора», — протянул он рубль. Ну, продавец и дай ему семьдесят копеек. Тут он и поднялся: «Ни стыда у вас, ни совести!» Я хотя и разозлился, но сдержался. «Не кричи так, возьми свои восемь копеек». И бросил монеты перед ним. «Дайте жалобную книгу», — настаивает он. Тогда я не выдержал, позвонил в вытрезвитель: «Какой-то пьяный не дает работать». Тут же приехали и забрали его. Оштрафовали и на место работы сообщили. Прибежал тогда ко мне: «Помоги, говорит мне». Я, конечно, помог ему.

Лицо Какамурада побагровело; скулы задрожали, Он сдержался:

— Эх, Тогалак-ага, скверный ты человек, оказывается. Очень нечистоплотный человек! Негодяй ты, словом!

Тогалак Тонгаевич от таких слов онемел. От гнева в глазах у него зарябило, руки задрожали. Он вскочил, не помня себя, вплотную приблизился к парню:

— Ты что это сказал, ты в своем уме?

— Я сожалею, что до сих пор был не в своем уме!

Тогалак Тонгаевич вновь замахнулся кулаком. Какамурад увернулся от удара.

— Вон отсюда, сгинь! Пошел вон, говорю! Чтоб и тени твоей не видел! — в ярости заголосил Тогалак-ага.

Какамурад скрипнул зубами. Он схватил лежавшую рядом гирю:

— Ах, ты!.. — и с этими словами поднял ее...

Какамурад все отвечал на вопросы следователя.

— Я уже сказал, что он надувал людей в течение многих лет.

— У вас тому доказательства, есть?

— А те случаи, не доказательство.

— То пустой разговор. У нас немало сведений о том, что Тогалак Тонгаевич уважаемый человек и лучший работник торговли.

— Они ложны.

— Если так, то почему вы не сообщили об этом раньше в соответствующие органы? Или к вашему сигналу не прислушались?

— Из-за таких негодяев не стоит беспокоить высшие организации.

— Понадеялись на собственную физическую силу?

— Да.

— Но он же человек. Вы знали, что придется отвечать за свои поступки?

— Отвечу.

— Тогда, значит, признаете свою вину?

— Я рад, что общество избавилось от этого негодяя. И вот, наконец, приговор — расстрел.

В это время широкую улицу заполнили участники траурной процессии — хоронили Тогалака Тонгаевича. Какамурад глядел на них из-за зарешеченного окна машины, которая увозила его. В этот момент он желал услышать от людей: «Юноша пожертвовал жизнью, чтобы избавить народ от негодяя...» Но никто не проронил ни слова, никто не заступился за него.

Какамурад будто наяву видел все это, ощущал и осознавал трагичность событий. Он резко вскочил с места.

— Нет, нет! Я не поспешил! Я выступил за справедливость! — бессознательно прокричал он и окончательно проснулся.

Этот крик и разбудил спящих женщин. Поспешно вскочив, они заглянули в комнату Какамурада. А тот растерянно озираясь по сторонам, не понимая, что с ним.

— Что здесь происходит? Где Тогалак-ага? — спрашивал он совсем опеших женщин,

Женщины стояли в его комнате, не соображая что же происходит. И Какамурад опять молча лег на свое место.

Тогалак Тонгаевич проснулся рано. Встал, умылся. Тачбиби-эдже, подавая ему полотенце, тихо сказала: — Поджидая тебя вчера, я заснула у Хансолтан. Почему так поздно вернулся, что произошло?

Тогалак-ага выхватил из рук ее полотенце, вытер лицо.

— Сиди дома, никуда не выходи! — бросил он на ходу и вышел.

Недоуменно оглядываясь, она поспешила к Хансолтану.

— Хансолтан, свет мой, что же происходит между нашими мужчинами, — запричитала она. — Снова ушел куда-то, хлопнув дверью. И ты ничего не узнала у сына?

— Вытянешь у него слова... Спит.

Женщины снова молча сели на топчан, горестно вздыхая. Так просидели они около часа. Наконец, проснулся Какамурад и тут же хлопнула калитка, приехал и сам Тогалак-ага.

— На твои документы! — сердито прохрипел он, бросив бумаги в лицо опешившему Какамураду. — Получай расчет!

— Я не подавал тебе заявление, — спокойно сказал Какамурад.

— Не выходишь на работу целый месяц. Подаю рапорт — с худшими последствиями освободят.

— А что будет, если я подам?..

— Что-о-о? — и махнув рукой, резко повернул назад.

— Ой-ой! Что это с отцом Энеш? — обеспокоенно спросила Хансолтан.

— А... Придет в себя, — успокоила Тачбиби-эдже.

Тогалак-ага бегал взад-вперед по комнате, успокаивая сам себя: «Пусть подаст, пусть пишет, в чем моя вина? И нет у него никаких доказательств. Кто ему поверит? Скандалист! Видимо, он место мое хочет занять. Наговором занимается! Клевета!» «Однако на душе его кошки скребли. Он стал припоминать своих друзей-приятелей, на всякий случай. Он мысленно всех обошел, обо всем рассказал. И никто ему не посочувствовал, никто доброго слова не обронил... «Ах, трусы», — хрипло процедил сквозь зубы Тогалак-ага.

«А что мне делать, если этот негодник и на самом деле подобное заявление настрочит. И что я сын бая, и придерживаюсь старых обычаев...» Подобные анонимки он и сам писал на тех, кто выступал против него... И совсем сник Тогалак Тонгаевич. «Тогда обязательно все проверят. И склад, и дом... Каким образом все нажили? — спросят. Ничем не отгородишься от анонимного письма».

Его беспокойство нарастало. Взглянув в окно, он крикнул жену.

— Иди сюда, что расселась, как клушка.

— Иду, если б и не позвал, — ответила спокойно

— Иди сюда, говорю тебе, дура!

Не желая услышать от мужа более крепких слов, Тачбиби-эдже пошла в дом.

Муж ее стоял среди кучи разбросанного добра.

— Пришлю машину, ты сегодня же отвези все это родственникам в пески, — кивнул он на кошмы, ковры.

— Зачем?

— До этого тебе дела нет.

— Если мне нет до этого дела, в пески эти вещи не повезем, — резко ответила она. — Отдадим их хозяевам истинным.

— Что?! — заорал Тогалак-ага и тут же прикусил язык, удивленно заморгал глазами, которые, казалось, вот-вот вылезут из орбит. — Что ты говоришь, глупая женщина? Кто тебя научил? Кто же хозяин моим вещам?

— Тот, у кого ты их отобрал.

Поразительными казались ему слова Тачбиби, которая будто бы ничего раньше не замечала, только знала варить да складывать привозимое.

— Ну-ка, скажи, у кого я взял эти вещи? — повысил он голос, подступая вплотную к женщине.

— Это лучше объяснит тебе Какамурад...

— Значит, и ты веришь всем этим пересудам? —

Тогалак Тонгаевич понизил голос, хотя сердце от ярости так и рвалось из груди.

— Я не ребенок, которого можно обмануть конфеткой или пряником, — нахмурилась Тачбиби.

— И это — все, на что ты способна?

— По мне лучше в спокойствии простую кашу есть, чем в тревоге купаться в золоте-серебре. Зачем тебе эти проклятые вещи?

— Они только сегодня стали для тебя проклятыми?

На миг лицо Тачбиби-эдже побледнело, но она справилась с волнением и лишь коротко ответила:

— Много в мире чего пока не знают и не понимают люди...

Перепуганный словами Какамурада, ошеломленный ответами жены, Тогалак-ага не знал, что и ответить, лишь подумал: «Вырастил ягненка-сироту — полны сальом рот и нос. Вырастил малыника-сироту — рот и нос в крови». Так сетуют бабы. И правильно. Кто же теперь моя жена? Враг?!

— Не будь глупой, не иди на поводу, поверь: сына надо женить, вот и собирал потихоньку, — слезно завел он.

— Не смею дотронуться до взятого из чужого кармана, — отрезала жена. — Нельзя на слезах других свое счастье построить, — вдруг заплакала в голос Тачбиби-эдже, вспомнив своих погибших детей.

— Прекрати, людей переполошишь, врагов насмешишь, — Тогалак Тонгаевич вновь несколько повысил тон.

— Не перестану! Чтоб мне прекращать! Пригони машину, один конец, иди, гони машину! — голосила она. — Чтоб не видели мои глаза эти вещи, не жгли мне сердце! Ох-х, эти проклятые вещи и погубили моих ребяток!..

На крик Тачбиби-эдже прибежала Хансолтан с Какамурадом. Какамурад стал успокаивать Тачбиби-эдже, а Хансолтан стояла онемев. Она не узнавала Тогалак-ага — до того он стал каким-то маленьким, словно сморщился весь, иссох. И вдруг он, схватившись за голову, резко сел на землю.

— Но-о! Вставай-ка! Позор на свою голову заработал, теперь выкручивайся! — пришла в себя Тачбиби-эдже.

Хансолтан подбежала к Тогалак-ага, помогая ему подняться, приговаривала:

— Отец Энеш, не горюйте. Все в порядке, хорошо. Не обижайтесь вы: ведь говорится же: «Посадив дерево на чужом дворе, в одно время услышишь стук топора».

Нежные пальцы Хансолтан словно жгли огнем его тело. Он освободился от рук женщины и присел на корточки. В это время прибежала Энеш.

— Чары идет! Чары! А с ним какая-то русская девушка! — затанцевала она на месте. — Наверное, невеста!

— Ой, сынок приехал! Чары-джан приехал! Он ведь писал, что приедет с невестой! — Тачбиби-эдже выбежала из дома вслед за дочерью.

Какамурад и Хансолтан тоже последовали за ней.

А Тогалак-ага, как-то странно улыбаясь, встал, прошел в темный угол, накинул на себя старую шубу. И как-та сразу обмяк, будто собранное в кучу прокоптившееся войлочное покрытие кибитки...

КОЧ-ПАЛЬВАН

Казалось бы, зачем сейчас, когда мы празднуем очередной юбилей Великого Октября, вспоминать о прошлом? Но не успокоится моя душа, мое сердце, если не расскажу вам об одной из горьких страниц жизни моего народа.

В те дни вся наша страна праздновала четырнадцатую годовщину Великой Октябрьской революции. Я был только принят в комсомол — мне уже исполнилось шестнадцать лет! — и все вокруг меня пело и радовалось, как пела и ликовала моя душа, когда я шагал по дороге в аул Иыртык, где жила моя тетя.

Она очень обрадовалась моему приходу и сказала:

— Как хорошо, что ты пришел, племянник. Сегодня такой праздник! Наш колхоз зарезал верблюда, будет той.

Почти весь аул собрался на этот той. Согласно обычаю, поели крепкой, наваристой шурпы и пошли в мечеть, которую все называли «Ак-ышкол» — «Белая школа», где состоялось собрание. За столом сидели представители из района. Один из них, имя его, кажется, было Арчин, встал и стал называть поименно колхозников,

когда те подходили, он вручал кому отрез на брюки, кому алый сатин на платье.

— Кочова Айджемал! — выкрикнул он следующее имя.

Поднялась стройная молодая женщина. Она была хороша собой: огромные черные глаза, румяные щеки, брови дугой... На голове высокий борик, с него спускался большой платок, поверх которого был накинута халат.

— Иди сюда, дочка, не стесняйся, — позвал Арчин, — да скажи людям пару слов, — а потом, обращаясь к сидевшим, добавил: — За ударную работу Кочова Айджемал награждается швейной машинкой!

Все захлопали. А она, немного смутившись, сняла с головы халат и отдала его соседке, а потом смело пошла к столу. Немного постояв, она откинула платок со рта и горячо заговорила:

— Дорогие мои земляки! Вот уже несколько лет, как мы зажили по-новому. Будем жить еще лучше. Однако среди нас еще есть байские прихвостни, которые мешают нам и нашей работе. Но мы уберем и их! Так давайте в честь великого праздника, который мы отмечаем сегодня, назовем наш колхоз «Четырнадцатая годовщина Великого Октября!»

Когда она произнесла эти слова, раздался выстрел, Айджемал покачнулась и упала. В зале начался переполох, стрелявшего схватили. Председатель колхоза бросился к Айджемал. Но помочь ей уже никто не мог: из груди хлынула кровь, глаза открылись еще шире, губы одеревенели. Такой я ее запомнил на всю жизнь.

Прошло несколько лет. Я уже стал к тому времени настоящим закаленным комсомольцем. Мне даже доверили оружие. Я ездил по аулам, выступал на собраниях с сообщениями об итогах первой пятилетки и о задачах на вторую, агитировал за ударный труд. И постоянно со мной был образ Айджемал. Выступая перед колхозниками, я невольно сжимал рукой лежащий в кармане пистолет.

Как-то возвращался я из очередной поездки. Дорога была хорошей: рытвины подсыпаны мелким щебнем, а кое-где даже покрыта камышом и посыпана песком. И не мудрено, ведь в сезон дождей она превращалась в глинистое месиво, и добраться до райцентра не было никакой возможности.

Справа от дороги были заросли кустарника, а слева расстилалось огромное хлопковое поле.

Настоящее зеленое море! Оно шумело и колыхалось, а кое-где проглядывала блестящая на солнце вода. Удивительная картина! Так бы стоял целый день и глядел на этот зеленый разлив. Вот только жаль: времени на любованье этой красотой у меня было мало. Я оглянулся назад в надежде увидеть хоть какую-нибудь повозку, которая подвезла бы меня к райцентру. Но дорога была пустынна. Дело шло к вечеру, и в кустарниках завели песню цикады.

Вновь повернувшись лицом к полю, я заметил пробиравшегося через него человека. Сердце мое екнуло, а руки лихорадочно сжали пистолет. Я вновь вспомнил Айджемал. —

— Здравствуй, брат, — приветливо сказал подошедший.

— Здравствуйте... — сдержанно ответил я.

— А я вот вижу стоит молодой парень и, наверное, скучает. Подошел — нет, гляжу, не скучно ему.

Я ничего не ответил, а он, помолчав, добавил:

— Да, ты, друг, вижу тот, кто был у нас в колхозе «Четырнадцать лет Октября»... Тогда, на собрании, когда колхозу присвоили имя...

Я опять молча кивнул.

— Ты, вижу я, опасаясь меня, руку в кармане держишь, глаза осторожные, а на лице тень. Правильно, делаешь, беспокойное время еще, ох, беспокойное. Да ты не бойся меня. Я — мираб, работаю на этом поле. За дорогой вот слежу, чтоб арык не засыпало. Если арба груженная проедет, то осядает берег арыка и воде хода нет..

Видя, что я молчу, словоохотливый собеседник умолк, а затем вновь заговорил:

— Если не веришь, спроси у людей, работающих на поле... Они все меня знают.

Он снял чекмень, под которым была одна рубашка, некогда белая, но пожелтевшая от пота и солнца. Карман рубахи оттягивал какой-то предмет. Я вновь насторожился: мало ли их, кто выдает себя за друга, а при первом удобном моменте готов тебя прилепить.

Мираб посмотрел на меня с укоризной, сунул руку в карман и вытащил оттуда табакерку с насом, поднявшись на высокий берег арыка, позвал и меня:

— Эх, парень, иди сюда, поговорим, да и дорога будет видна, как на ладони... Фургонов-то с утра не было... Может и проедет какой, подвезет тебя.

Успокоенный тем, что оружия у него нет, а лопату он оставил внизу, я поднялся вслед за ним и присел поодаль. Я взял табак и клочок газеты. Слово за слово мы разговорились.

— Так вы, яшули, должно быть знали Айджемал, — поинтересовался я.

— Э, брат, и ее, и родителей знавал, — ответил мираб.

— Так расскажите о ней, прошу вас...

Когда-то в нашем ауле жил бай. Богатый, очень богатый. И был у него сын Ислам. У бая в работниках были два брата, Кочкули и Неркули. И отец-то их был батраком, хоть и считался родственником бая. Что ж делать, бедность кому хочешь на шею ярмо оденет, будь ты родственником самого падишаха... Гонял он отары байские с пастбища на пастбище, бывало и караваны его в Иран водил. И вот однажды, уходя с очередной краденой отарой от погони, он был смертельно ранен и, умирая, попросил бая, чтобы он присмотрел за сыновьями.

Вот и выросли они, батрача, на байском подворе. Не чурались никакой работы. Высокие, статные, сильные... Настоящие пальваны. Да и отец их пальваном был.

Старый бай к тому времени умер. Его место занял сын Ислам. Хитрый и жадный, как отец, молодой бай быстро усвоил его методы. Приумножив отцовские богатства и связи, он стал настоящим хозяином аула. Его слово было законом для бедных соплеменников.

Будучи ярым сторонником межплеменной розни, он так настраивал молодых парней, батраков своих и чабанов.

— Если встретите пастухов-соседей с отарами возле своих пастбищ, овец угоните, а людей избежите. Только тогда они будут бояться и уважать вас...

— Вот видишь, брат, каким человеком был Ислам-бай. Не многие из нас понимали тогда, что нашим племенам надо держаться вместе...

— Да, яшули, верно... Вот и Махтумкули говорил:

«Единой семьею живут племена,
Для пиршеств расстелена скатерть одна...»

или вот:

«Слились в один поток
йомуды и гоклены...»

Мираб закивал головой.

— И у нас в ауле был один человек, который понимал стихи Фраги. Да беден он был, а ведь тогда как было? Кто богат, у того и власть, и правда на его стороне. А темный забитый дайханин разве понимал это? Вот бай и пользовались, набивая свой карман деньгами.

Как-то раз была в ауле свадьба. По нашим обычаям на свадьбах и пальваны-борцы состязаются, и соревнования молодых джигитов устраиваются. Так вот на этой свадьбе поспорили Ислам-бай с баем Мамышем, из соседнего аула, из-за пустяка. И решили рассудить свой спор поединком пальванов.

Ислам-бай подозвал братьев Кочкули и Неркули и сказал:

— Если проиграете пальванам Мамыша, хлеба не дам...

Те из гостей, кто услышал эти слова, стали говорить, что нельзя так настраивать парней, в состязании всякое случается, но бай гнул свое:

— Не вздумайте проиграть. Делайте, что хотите, правда будет на вашей стороне, ведь я с вами!

Началась схватка. Первым выступал Кочкули. Никогда прежде не знал он поражений, но ведь время идет, подрастают и молодые силы. И соперником Коч-пальвана на этот раз был молодой борец, который превзошел его в силе. Бай Ислам топал ногами и кричал: «Мерзавец, ты хочешь позора нашему роду!» А потом он повернулся к Неркули и зло бросил:

— Ага, и ты, наверное, хочешь, чтобы люди смеялись надо мной? А ну вступай в схватку, раз твой брат не смог справиться с каким-то щенком!

Молодой пальван смутился и ответил:

— Что вы, бай-ага, как можно! Давайте отложим схватку на следующий раз, силы покинули меня, я не могу сейчас бороться.

Однако бай был непреклонен. С пересохшим от злобы лицом он кинулся к Неркули и вынудил вступить его в схватку. Силы были неравные. Соперник Неркули изловчился и резко повалил его на землю. Раздался хруст. Неркули застонал и впал в безпамятство. Все бросились к нему.

А два бая грызлись, как дворовые псы:

— Чтобы я не видел твоих овец возле Сонарли! — кричал Мамыш-бай.

— Все равно, это мое пастбище и рано или поздно оно будет моим, — вопил Ислам-бай.

Им и дела не было до того, что рядом умирал человек. Қоч-пальван подошел к Ислам-баю и сказал:

— Бай-ага, надо где-то палас взять...

— Это еще зачем?

— Неркули там лежит...

— Полежит и встанет, не маленький.

— Не сможет он, у него сломана поясница!

— Так ему, мошеннику, и надо!

Глухая обида вскипела в сердце Қочкули, но бай есть бай...

Неркули умер в страшных мучениях, а брат его, Қочкули, долго не мог прийти в себя после его смерти.

В это время в аул вернулась жена Неркули. Она гостила у своих родителей. Бедняжка была беременна и радовалась этому, еще ничего не ведая о случившемся. Через некоторое время у нее родилась дочь, Айджемал. Несчастное дитя! Не зная своего отца, она вскоре лишилась и матери, та умерла от тифа, когда девочке было всего несколько месяцев. И Қочкули взял ее к себе.

— Так вот почему фамилия ее было Қочова! — воскликнул я.

— Ну, да... Қочкули стал ей отцом. А когда записывали ее фамилию в документах, так и написали «Қочова»...

Жизнь брала свое. Надо было работать и заботиться о своей семье, первым ребенком в которой стала маленькая Айджемал,

По-прежнему батрача на бая, Қочкули видел, что Ислам-бай не доволен им. Еще бы! Пальван растерял половину своей силы и мощи. И задумал Қочкули уйти от бая, хотя понимал, что тот, другой, к которому он наймется в работники, будет не лучше, а может быть, и хуже.

С этим решением он и пошел к Ислам-баю.

А у бая был в это время английский гость. Он час-тенько заглядывал к нему в дом, ведя о чем-то переговоры сдержанным шепотом.

Бай говорил:

— Да, тяжелое нынче время, смутное... Ни торговать, ни караваны водить стало невозможно, одним твоя жизнь нужна, другим твое богатство...

— О чем это вы, дорогой друг? — спросил белобры-сый гость, разливая по пиалам чай.

— Да, это я так... Есть у меня один работник Қочку-ли, чувствую, уйти он хочет от меня... А мне лишние ру-ки терять не хочется...

— Видел я его, какие он мешки поднимает! Хороший работник... А он грамотный?

— Да, где там! Темный и забитый батрак, а тоже чего-то хочет...

— У нас, в Великобритании почти все работники гра-мотные, тоже выступают, бастуют. У вас же народ мол-чаливый, это хорошо. А с этим парнем поступи так... — он вытащил из кармана какую-то коричневую палочку, толщиной в указательный палец, — дай ему этой штуки. Уйти от тебя он не сможет, бунтовать не будет, но и ни-когда не улыбнется. И все будет так, как ты хочешь.

У бая хитро заблестели глаза:

— И много ты, мой друг, привез этой штуки?

— Целый хурджун... И все оставлю тебе, а ты делай, как я тебе говорю...

Бай и белобрысый гость засмеялись...

Этот смех услышал Қочкули, когда подходил к дому бая. Конечно, дальше порога его не пустили. А когда он, переминаясь с ноги на ногу, поведал баю о том, что боль-ше у него работать не может, тот стал упрекать его:

— Ну, что ты говоришь, Қоч-пальван! Конечно, уйти твоя воля, но ведь ты мой должник. Когда ты женился, я тебе и кибитку справил, и овец дал, и верблюдов, и

калым за жену тоже я заплатил! Вот расплатись со мной, и ты сам себе хозяин!

Пальван не верил своим ушам. Оказывается, бай его благодетель!

Видя, что работник его вконец растерялся, Ислам-бай смягчился:

— Ну, ладно, Коч-пальван, ступай, подумай, потом приходи... А пока.., — эй, жена! Завари-ка для гостя моего чаю и принеси чайник!

— Тогда с чаем плохо было, — пояснил собеседник, и бывало так, что муж пил один сорт чая, а жена — другой.

Жена бая принесла чай. Кочкули пил и чувствовал, что все заботы куда-то исчезли, а в тело входила приятная истома, печали забывались, все вокруг казались славными и добрыми людьми.

Потом бай отсыпал в один чарык¹ горсточку зеленого чая, в другой положил небольшой, величиной в спичечный коробок кусочек, от той коричневой палочки и подвинул их Кочкули:

— На вот тебе моего чая... Да подумай о том, что я тебе сказал. Как надумаешь, приходи... — проговорил он, усмехаясь.

Покорно склонившись, Кочкули ушел.

Так началось его приобщение к терьяку. Втянулся он незаметно, и получал от этого удовольствие. Все для Кочкули казалось прекрасным, силы в нем умножались, бай был для него родней отца. Уходить от него он уже не думал и был готов ради него на все, лишь бы он снабжал этим зельем.

Он снова таскал огромные мешки, водил байские караваны, рубил для него дрова... Занимался тяжелой работой и дома. Казалось, что силы его неисчерпаемы... пока действовал терьяк.

Но не прошло и пяти лет как Коч-пальван стал чувствовать себя совершенно разбитым. Он уже не мог поднять огромный мешок — пот заливал глаза, подгибались колени, сердце было готово выскочить из груди. Теперь он стал дряхлым и слезливым. А бай все реже давал ему терьяк и все чаще попрекал куском хлеба. По его словам получалось, что он, Ислам-бай, содержит

¹ Чарык — национальная кожаная обувь туркмен. (прим. ред.).

семью Кочкули только из милостыни, хотя это было не так. Кочкули выполнял всю тяжелую работу по дому, жена его ткала баю ковры и валяла кошмы, дети таскали воду и подметали двор.

А однажды бай, уже откровенно тяготившийся Кочпальваном, вовсе не дал ему зелья и сказал, что больше не намерен кормить нахлебника. Как подбитая собака, поплелся он домой.

— Неужели он не мог одним махом бросить это дело! — горячо воскликнул я.

— Эх, брат! Легко сказать «бросить». Многие в ауле говорили ему так. А он, не вступая в долгие объяснения, отвечал им: «Вот попробуйте, привыкнете к этой отраве, а потом советы давайте!»

Пришел Кочкули домой, собрал кое-что из одежды и понес все к одному купцу-прощелыге, который тоже этим зельем промышлял. Выменяв немного терьяка, он опять забылся в сладком дурмане. Но шли дни, а денег ни на еду, ни тем более на зелье у Кочкули не было. И он снова пошел к баю.

Ислам-бай полулежал на пестрых подушках и, прихлебывая чай, вел неторопливую беседу с муллой. Увидев на пороге Кочкули, брезгливо поморщился и тихо сказал мулле:

— А этому нужно одно... отравы... Эй, Кочкули, чего пришел? Мне нужны крепкие работники, а ты посмотри на себя — от ветра падаешь!

— Вах, бай-ага, я буду до конца дней молить аллаха о ниспослании тебе дальнейшего богатства и благоденствия... прошу лишь об одном: дай немного зелья! — униженно молил пальван.

— Да... да ты что! Что же у меня, по-твоему, клад зарыт, что ли? Ступай прочь!

— Бай-ага...

— Слушай, — вдруг переменял тон Ислам-бай. — У тебя, кажется, дочка есть, Айджемал. Отдай ее мне в жены! Вот мулла нас повенчает, а я, так и быть, помогу тебе.

От этих слов у Кочкули пропал дар речи. Наконец, совладев с собой, он сказал сдавленным голосом:

— Да как же так, бай-ага, она же дитя еще...

— Ничего не дитя, ей уже тринадцать лет... У нашего народа есть поверье: кинь в девочку шапкой, если она не упадет, ее можно отдавать замуж.

— Но она же дочь Неркули-джана!

— Не поминай имени своего брата в моем доме!

— Вах, бай-ага, как вспоминаю, в каких муках умер мой брат...

— Мы не на поминках... Не нравится — уходи прочь, — вскричал взбешенный бай.

Не смог Қочкули сдержать горечи и слез. Ноги его подкосились, и он, выйдя во двор, уселся на кучу золы возле очага.

Молодость нетерпелива, и я воскликнул:

— Неужели пальван, хоть и бывший, уселся на золу!..

— Да, брат, на золу! Ведь что с человеком проклятый бай сделал. Қочкули когда-то равных себе не знал. Но что делать бедняге, когда у тебя нет ни здоровья, ни сил, ни лихих родственников-джигитов, которые могли бы постоять за тебя и твою честь? А бай богат, бай всемогущ...

— А сам Ислам-бай пользовался наркотиком?

— Еще как! Но ведь он был сыт, тяжелым трудом не занимался, дом его был полной чашей... Загрибок у него был как у быка.

На другой день опять пришел Қочкули к баю. И снова у бая был мулла.

— С-алам алейкум, бай-ага... Салам-а-лейкум, мулла-ага...

— Ну, зачем пришел? — грубо спросил бай. — Подумал или нет?

Молчал Қочкули. За него ответил мулла:

— Молчит, значит согласен. По рукам, Ислам-джан! Поздравляю!

— Ну, вот что я скажу... Қоч-пальван, — обратился Ислам-бай к батраку. — За Айджемал я ничего не дам. Ее калым покроет твой долг. И пусть завтра приходит в мой дом как жена. А зелья я тебе дам. Завтра...

Ничего не ответил Қочкули, как побитая собака поплелся домой.

Что было делать? Ведь раньше женщину не спрашивали: хочет ли она замуж или нет. Продавали за калым так, будто она и не человек, а животное какое. И что она, бедняжка, могла поделать? Только плакать — вот ее

участь. Эти мужчины придумали пословицу: «Бабы слезы, что вода, высыхают без следа...» А женщину они не красят... Такая это уж их доля была...

И как же они стали жить? Неужели Айджемал полюбила старого Ислам-бая? — мое нетерпение не давало мне покоя.

— Как жили! Эх, брат, молод ты еще... Только бай в дом, Айджемал — из дома, бай на улицу, молодая жена в дом... Вот так и жили!

Однако благодаря тому, что Айджемал вошла в дом бая, Қочкули заметно поправился. Когда никого в доме не было, она кормила его и уговаривала не брать терьяк, а он только улыбался и благодарил аллаха за такую дочь. Бай опять взял его к себе в батраки и дал ему три фунта зелья.

Қочкули вновь водил караваны в Иран, пас отары, все, казалось бы, стало на свои места. А тем временем прошел по аулу слух, что белого падишаха «скинули». Бай заволновался и стал готовиться к отъезду. И Айджемал переменилась. Она ластилась к баю, чего раньше с ней не бывало, и, обиженно надувая губы, говорила, что бай-де ее не любит и предпочитает ей других жен.

— Эх, глупая женщина! Вот перейдем благополучно на ту сторону, в шелка тебя одену, золотом осыплю. Только, смотри, не проговорись.

А в ауле он пустил слух, что хочет продать часть скота в Иране, так как придет суровая зима, и он боится падёжа скота от бескормицы. Так он объяснил и Қочкули, который должен был угнать отары за границу.

И вот подошел день отхода каравана. Ислам-бай с сыновьями вышли днем, а Қочкули уже был с отарой на пути к границе — он поднялся задолго до рассвета. Но вскоре хозяин нагнал батрака.

— Эй, стой, Қочкули! — крикнул бай. — Довольно, отдай свою чабанскую палку одному из сыновей и ступай домой. Ты мне больше не нужен!

— Да как же это, бай-ага... — слова бая взволновали чабана. — Я же верно вам служил, возьмите меня с собой...

— Отец, — вмешался один из сыновей бая, беря наперевес ружье, — давай сократим ему дорогу... домой.

О! Если бы они поступили так, это было бы великим благом! Но хитрец бай решил иначе:

— Что ты, сын мой! — ответил он. — Убийство великий грех! Я сделаю так. — Он подозвал к себе Кочкули и дал ему небольшой пакетик:

— Это тебе за службу. А теперь ступай домой!

Делать нечего. Повернул Кочкули домой. Но дома оказался не скоро!

— Эх, надо было ему к большевикам обратиться, — снова прервал я рассказ яшули. — Они бы помогли! Ведь тогда в районе была ячейка!

— Эх, брат, ну, и чужак же ты! Откуда ему, забитому батраку, знать об этих ячейках. Для него что и было, так и то мулла говорит: грех, Коран говорит; грех... А сколько суеверий было. Темный был батрак, забитый и запуганный. И не забывай, что для него зелье было и отцом, и матерью, и ясным небом.

Когда приплелся, наконец, Кочкули к родному очагу, его встретила Айджемал, веселая. Удивился Коч-пальван: ведь она должна с баем быть уже за границей. Но Айджемал, усадив отца, рассказала ему обо всем случившемся. Оказывается, еще до замужества познакомилась Айджемал с Сахатом, парнем из соседнего аула. Он тоже батрачил на Ислам-бая. Ну, и полюбили они друг друга. А тут Ислам-бай захотел ее в жены! Долго горевал Сахат, но что он один мог поделать с баем? Ничего! Но виделись они с Айджемал ежедневно. А когда бай решил бежать, Айджемал все рассказала Сахату и просила украсть ее, забрать от постылого старого мужа. И Сахат сказал так:

— Не тужи, моя милая! Освобожу я тебя обязательно. Но только никому ни слова. Собирайся со всеми, а что будет потом, сама увидишь.

А сам ускакал в город, к большевикам. Они-то и помогли задержать бая, вместе с караваном и отарами. Бая повезли в город, а Айджемал вернулась в аул.

Через несколько дней приехал в аул Сахат и забрал Айджемал. Стали они мужем и женой.

А для Коч-пальвана наступили дни мучений. Он слонялся по аулу без дела, ему нужно было зелье, а его не было. Жена его упрекала в том, что он бездельничает:

— Я тружусь день и ночь, едва зарабатываю на кусок хлеба детям... А ты все тащишь из дому.

Кочкули молча сносил попреки жены. Но день ото дня ему становилось все хуже и хуже — тело ломило,

руки и ноги не повиновались. И он решил продать единственно ценную вещь в доме — новый халат жены. Обезумев от желания насытиться призрачным здоровьем и видениями, он грубо оттолкнул жену, вырвал ключи от сундука, забрал халат и ушел.

Совсем опустился Қоч-пальван. Да и не пальваном он уже был, а немощным стариком. Единственным человеком, для которого он был еще дорог, была его жена. До земельной реформы она с детьми жила очень плохо, еле перебивалась. А когда образовался колхоз, она вступила в него с детьми, ей стало полегче. И она не могла без сострадания смотреть на сгорбленную фигуру мужа, потерянного и бездомного. У женщины сердце совсем по-другому скроено, вот так-то брат! Она сообщила обо всем Айджемал и обратилась в сельсовет, чтобы помогли вылечить ее мужа, сделать его человеком.

И вот однажды вызвали Қочкули в сельсовет, что находился в бывшем байском доме. Дом этот, из жженого кирпича, с резной деревянной верандой, строил Қочкули, хоть побывать в нем ему ни разу не пришлось. Его принимали у порога, отдавали распоряжение, а внутрь не пускали.

Вот и теперь он стоял у порога, и ему было слышно, о чем говорят в доме.

А говорил секретарь сельсовета Пашы:

— Да как можно разбирать его дело, если он — байский прихвостень. Не побоялся родину бросить, за границу подался. В колхоз вступать не хочет, да мы его и не позовем, это байское семя!

— А на деле все оказалось по-другому, сынок, — обратился мираб ко мне, — Сам Пашы, оказывается был байским прихвостнем, слушался его во всем, помогал. Много еще прошло времени, пока раскусили аульчане этого Пашы. Вот и в этот раз выступал он против Қочкули, чтобы баю угодить. Хитрым оказался, изворотливым.

Яшули привстал и повернулся на запад, откуда ветер доносил запах гари.

— Смотри, брат, видишь дым? Когда-то там было поле, на котором Ислам-бай выращивал свое зелье. Вот уже второй год наши ребята-комсомольцы расчищают и выжигают семена этой гадости, а она нет-нет и всходит. Видишь, какая это отравка живучая. Байское семя! —

в гневе добавил он. — Таким был и Пашы. Да, не скоро его разгадали... Но тогда он не смог навредить Коч-пальвану.

— Вы знаете, яшули, наверное, это он убил Айджемал.

— Нет, не он, другой, но его руками. Бай Пашы приказал, чтобы тот любым способом убрал Айджемал: «Все беды мои от этой девчонки, убери ее!» И вот, когда поймали того, кто стрелял, — а был это бедняк из бедняков, но тоже пристрастившийся к зелью, — он сразу сказал, что ружье ему дал Пашы и приказал: «В ауле Йыртык есть женщина, Кочова Айджемал. Убьешь ее, дам много зелья. Вот я и убил».

Комсомольцы встали на защиту Коч-пальвана. Самый молодой из них сказал так:

— Нет, Пашы-ага, всем нам известно, что раньше Коч-пальван хорошим человеком был, и ведь из-за Ислам-бая он так опустился, из-за того, что к терьяку тот его приучил. Теперь его надо положить в больницу и вылечить.

Все комсомольцы проголосовали «за». Пашы был зол, как собака, но ничего поделать не мог. Молодцы были эти ребята, они боролись за жизнь человека!

Думаешь Коч-пальван обрадовался? Где там! Он рассердился и сказал сам себе: «Ишь, что удумали! Какие-то молокососы меня спасти надумали!» И ушел.

Ребята сдержали свое слово. На следующий день они разыскали Кочкули, пошли с ним в сельсовет, справили все бумаги, необходимые для его вступления в колхоз, а потом отвели в больницу. Кочкули упирался, но его все равно стали лечить. Ох, и тяжело ему было!

Какие ему муки пришлось перенести, знает лишь он один! Жить ему не хотелось, с души все воротило, он задыхался, высох весь. Переполошил он всех врачей! И тогда решили ему сделать переливание крови. Но где взять чистую, свежую кровь? Узнали об этом комсомольцы аула, четверо из них пришли в больницу и сдали свою кровь.

Прошло несколько недель, дела Коч-пальвана пошли на поправку. Кочкули день ото дня все больше удивлялся красоте окружающего мира! Он радовался всему: синему чистому небу, зелени деревьев за окном, даже воробьям, купавшимся в пыли. Порой, не в силах сдер-

жать радость, рвавшуюся из его груди, он высовывался из окна и громко приветствовал своих земляков. Аульчане радовались от всей души, видя, как возвращается к жизни этот еще недавно совсем пропавший человек.

Кочкули говорил себе: «О, аллах! Каким же я был слепцом! Я не видел, какая у меня чудесная жена и милыемышленные ребяташки! Сколько же горя и им принес!»

* * *

Мой собеседник замолчал, поднялся в полный рост, расправил свои затекшие мускулы. Я не мог отвести глаз от его крупной и ладной фигуры. Он почувствовал мой пристальный взгляд и, усмехнувшись, пояснил:

— Эх, брат, когда Кочкули слыл пальваном, он был в два раза крепче, чем я! — Потом повернулся и сказал — Вон, фургон едет... Собирайся, брат.

А мне хотелось еще о многом расспросить яшули.

— А скажите-ка, яшули, что все-таки стало потом с Коч-пальваном?

Мираб улыбался:

— Что стало? Работать он стал в колхозе, хорошо работать...

Сняв тельпек, поправил его завитки, и тут на солнце блеснул орден.

— Вах, яшули, у вас орден... А за что вам его дали?

— А дали его мне, брат, за хорошую работу, за то, что трудился не жалея себя. Вон спроси аульчан, они тебе скажут... Некоторые носят свои награды на груди, а я считаю, что этого мало, вот и ношу его на голове.

...Однако меня не покидала мысль о судьбе Коч-пальвана, и я опять настойчиво стал расспрашивать о том, где сейчас Коч-пальван...

— Где, спрашиваешь? Да вот он, перед тобой... Ведь Коч-пальван — это я. Ну, скажи мне, брат, кто так хорошо знает человека, если не он сам?

— Верно, верно... если Коч-пальван начнет о себе рассказывать, то дня не хватит, — смеясь, сказал подошедший к ним паренек, видать, из тех, кто раскорчевывал поле. — А я то думаю, куда наш яшули запропастился, нет и нет его. Дай, думаю, поищу. А он, оказывается, не запропастился, а заговорился... Поговорить он любит...

— Ах, вы шустрые... опять надо мной подшучиваете. Ну, ладно-ладно, смейтесь над стариком... Ваши дети тоже над вашими чудачествами смеяться будут... Ну, что, вот и фургон, — улыбнулся он. — Давай прощаться. Если будешь в наших краях, заглядывай к нам, в аул Ыртык. Ну, с миром...

Я взобрался на повозку, и мы поехали. Долго я глядел на удалявшуюся фигуру пальвана и думал об удивительной судьбе. И хотя мы все дальше и дальше отъезжали от него, мне казалось, что фигура стоящего на взгорке старика становилась мощнее и крепче.

Вот ведь как повернула нас новая жизнь! Совсем, казалось, некудышный человек снова вернулся к жизни благодаря помощи и вере в него людей.

Я ехал по дороге, а надо мной плыло голубое небо, в арыке плескалась вода, пахло свежей землей, готовой принять в себя семена нового урожая.

ЧАРМАН-АГА

Собрание проходило бурно, спорили до хрипоты. Но ничего дельного никто предложить не мог. А вопрос обсуждался важный: как быстрее поднять и сделать передовым хозяйство нашего колхоза, истощенное за годы войны.

В клубе стояла духота, хотя обе двери были открыты настежь. В первом углу, поближе к сцене, расположились женщины. Они обмахивались концами головных платков, и то и дело вытирали вспотевшее лицо, шею.

Сколько я себя помню, женщины всегда садились отдельно. Так было и на свадьбах, и на поминках. Так они усаживались и на собраниях. Может потому, что вокруг каждой непременно крутилось по несколько ребятшек. В туркменских селах детей много. Маленьких они укачивали, уложив на вытянутые, натруженные за день ноги; расшалившимся не в меру давали подзатыльник и усаживали рядом, чтобы не мешали мужчинам.

Так было и на этот раз. Женщины не вступали в спор, хотя слушали внимательно. Это я понял по тому,

что в углу не слышно было ни обычных женских смешков, ни шумной ребячьей возни.

Между тем выступавшие говорили уже без всякого объявления, прямо с места.

— Крупного рогатого скота у нас немало, а толку? Вот в чем вопрос!

— Это мы и без тебя знаем. Ты дело говори!

— Вот я и говорю...

— Э, садись! Дай другим сказать. Вот когда я со своей ротой, уже после войны стоял в одном украинском селе, так вот там были коровы!..

— Что же ты не прихватил парочку?

— И бычка заодно!

Вокруг засмеялись.

— Да, — задумчиво проговорил председатель колхоза.

— Коровы там действительно... По три раза в день доить можно. И каждый раз — по ведру!

Хотя председатель говорил негромко, слова его слышали все. Колхозники удивленно покачивали головами. В женском углу оживленно зашумели, кто-то зацокал языком.

— Да, таких бы коров в наш колхоз! Ребятишки были бы сыты.

Слова председателя колхоза будто подлили масла в огонь. Клуб загудел, каждому хотелось поделиться с соседом, каких коров он видел и насколько они лучше и удойнее наших.

Вдруг из женского угла послышалось:

— Надо поехать и привезти сюда хорошего бычка!

Гул мгновенно прекратился. Теперь каждый оценивал сказанное.

— А что, она дело говорит.

— Послать Ильмурада в село, где стояла его рота!

— Это далеко.

— Нет, уж если покупать бычка, так только красностепной породы. На Волгу ехать надо!

— Хороших пород много: и яровславская, и холмогорская...

— Тут надо подумать.

Я наклонился к председателю:

— Предложение дельное. Только, думаю, климат у нас для красностепной неподходящий.

Председатель быстро взглянул на меня. По выражению его глаз я понял, что и его заинтересовало это предложение, и он обдумывает его.

— Ты помнишь, — обратился он ко мне, — до войны у наших соседей, в колхозе имени Буденного, был бычок по имени Сиесан!

Я этого не помнил. Да и зачем мне было до войны бычками интересоваться?

— Так вот он был красностепной породы... Необыкновенный был бычок! Пропустит все стадо вперед, а сам сзади пасется, присматривает, чтоб порядок был.

— Послушай! — председатель стремительно повернулся ко мне. — Ты на Волге никогда не был?

Я не мог понять для чего этот вопрос, тем не менее ответил:

— Нет.

— Жаль, — вздохнул председатель.

Что-то занимало его, не давало покоя. Мне хотелось помочь ему, но я не знал чем и как.

— На Волге не был, — сказал я, — но там у меня друг живет, зовет в гости.

— Кто?

— Друг. Василий Иванович. Служили мы с ним вместе.

Председатель улыбнулся, хлопнул меня по плечу и поднялся из-за стола.

— Товарищи!

Предложение председателя приняли единогласно. Вскоре, написав письмо и получив от Василия Ивановича ответ, я отправился в путь.

Издали все казалось просто: приехал, купил бычков, отправил по адресу. Тогда меня волновало только одно: подобрать таких животных, чтобы выдержали нашу жару, да и корм наш чтобы пришелся по нраву.

В этом мне очень помог Василий Иванович. Объездили с ним все колхозы и совхозы области, в некоторые заглянули дважды. Наконец, вот они — красавцы — предводители нашего будущего высокоудойного колхозного стада!

Но проходит день, второй, а я все хожу вокруг своих бычков и никак не могу уехать. То вагона нет, то всякие справки требуют... Не хотелось мне опять тревожить своего друга, да что поделаешь!..

Василий Иванович встретил меня хмуро.

— А, это ты.

Он сидел за столом и читал книгу.

— Читаешь? — спросил я, решив начать разговор издалека.

— Да. Эта книжка об одном очень хорошем человеке.

Я взял книгу в руки. «Партизанский вожак» было написано на обложке. Первая страница начиналась словами: «Борис Степанович Терехин родился в городе Новосибирске в 1919 году. В этом году развернулось наступление белогвардейцев против молодого Советского государства. Это было время разгула контрреволюции в Сибири. Советская Россия оказалась перед лицом внутренних и внешних врагов. Центральный Комитет Российской Коммунистической партии (большевиков) во главе с Лениным призвал трудящихся на разгром врага. Участвовали в этом деле отец маленького Бориса — Степан и мать — Мария. Они участвовали в коммунистических субботниках, боролись против Колчака».

Затем писалось о том, как в этой борьбе погибли родители Бориса Степановича, и он остался сиротой. Я перелистал еще несколько страниц. Прочесть бы, да ведь не за тем я сюда пришел, и времени в обрез.

Взглянув на ссутулившуюся фигуру Василия Ивановича я спросил:

— А где сейчас этот... партизан?

— Умер. Сегодня, — хмуро ответил Василий Иванович. — Слышишь?

Я прислушался. Откуда-то доносился женский плач, причитания.

— Он что, твой родственник? — спросил я.

Василий Иванович не ответил, а только крепко потер обеими руками свою гладко выбритую голову. Затем, будто только что увидел, взглянул на меня:

— Ну, бычки твои как? Я думал ты уже уехал, не попрощавшись.

Я рассказал, конечно, в чем дело. Василий Иванович, просмотрев мои бумаги, вернул их мне со словами:

— Если документы в порядке, денька через два вагон достанем. А сейчас, брат, извини, сам понимаешь, — и он кивнул в сторону окна, откуда слышался плач.

Действительно, через два дня на станцию подогнали вагон. Узнав время отправления, я задал бычкам корм и поехал попрощаться с другом.

Дома я его не застал, но для меня была записка. Я быстро прочел ее: «Мурад, пошел проводить в последний путь Бориса Степановича. Похороны сегодня в пять часов. Василий».

«Как же так, — думал я, отправляясь на поиски Василия Ивановича, — ведь тот джигит умер три дня назад, а похороны... Наверное, ждали кого-то из родственников».

Людей было много. Они заполнили большой двор и часть широкой улицы. Скорбные их лица говорили о том, что из жизни ушел всеми уважаемый человек.

Протиснувшись поближе к дому, я увидел Василия Ивановича. Рядом с ним стоял Миносян, председатель горсовета. В поисках различных справок мне приходилось дважды обращаться к нему.

Я услышал как Миносян спросил кого-то:

— В аэропорт звонили?

— Да. Самолет уже сел, — ответили ему.

Я понял, что моя догадка была верной: кого-то ждали.

Войдя вместе с Василием Ивановичем в комнату, я увидел горестно склонившуюся женщину и двух детишек, прижавшихся к ней.

— Это его семья? — тихо спросил я.

Василий Иванович молча кивнул головой.

Вдруг я почувствовал какое-то движение в дверях. Люди расступились, и вошел невысокого роста крепкий старик-туркмен. Он был одет в домотканый халат, опоясан кушаком. Борода — лопатой, с легкой проседью. Через всю правую щеку — шрам. На вид ему нельзя было дать и пятидесяти, но грузная походка, глубокие складки морщин на лице и шее, руки, покрытые узловатыми венами, — все свидетельствовало, что прожил он немало.

Рядом с ним, в накинутах на голову халате, прикрыв рот платком, шла молодая туркменка.

Женщина, сидевшая с детьми, поднялась и с криком: «Ата! Отец!» — упала старику на грудь.

Он, успокаивая ее, что-то тихо говорил по-туркменски. Я смог разобрать только, что он проклинал войну, а женщину называл дочкой.

— Старик родственник им? — шепнул я Василию Ивановичу.

Он пожал плечами.

— А эта женщина с детьми — туркменка?

Василий Иванович взглянул на меня недоумевающе:

— Нет.

Я понял, что вел себя бестактно в такой ситуации и замолчал.

Время уже подходило к пяти, и мне следовало уходить: через час отправлялся наш состав. Я показал Василию Ивановичу на часы и кивнул головой в знак прощания. Он ничего мне не ответил.

Выйдя во двор, я увидел грузовую машину. На открытые ее борта свисали туркменские ковры. На одном выткана надпись: «В подарок Бекмураду». Я разволновался, да и было от чего. Здесь, в русском городе на Волге, за тысячу километров от родного села, я вдруг почувствовал себя дома. Все было здесь близким. Даже в лицах знакомых людей проскальзывали черты моих односельчан.

Я едва успел к поезду.

И в дороге, и дома случай этот долго не выходил у меня из головы. Старик и женщина с детьми так и стояли перед глазами.

* * *

Тот год в нашем районе выдался урожайным. Многие хозяйства справились с планом по хлопку и другим видам продукции. Мы тоже не подкачали. Особенно здорово продвинулись в животноводстве. Бычки мои прижились, и от них пошло хорошее потомство. Наше стадо было лучшим в районе.

Теперь бычков-производителей мы продавали соседним колхозам. Покупателей находилось много, потому что слава о нашем поголовье была широко известна. Лишь один бычок, купленный колхозом имени Карла Маркса, доставлял нам немало хлопот. Оттуда все время звонили, спрашивали, что делать: бычок плохо ест, бес-

покойно ведет себя. Наконец, приехал заведующей фермой, и прямо ко мне:

— Слышь, браток, выручай! Прямо не знаем, что делать, пропадет ведь бычок!

— Не могу, — отвечал я. — К вам ехать — свет не близкий.

— Да, далековато... Если сейчас выедем, то к вечеру попадем.

— Вот видишь, как же я брошу хозяйство? Вдруг что стрясется?

Он в сердцах снял шапку и бросил ее на землю.

— Черт с ним, пусть подыхает! Душу он мне всю вымотал, ваш бычок!

Тут меня взяло сомнение: могу ли я вот так отмахнуться от того бычка? Ведь он из нашего стада. А вдруг чего не доглядели?..

Мы договорились, что по приезде я осмотрю бычка, а утром меня на машине отправят назад.

Бычок оказался норовистым, но отзывчивым на ласку, и за то время, что я пробыл на ферме, успел привыкнуть ко мне и осторожно, словно играя, подталкивал меня в бок своей рогатой головой. Я посоветовал, чем кормить бычка и, главное, чтобы ухаживал за ним один скотник, а не разные, как это было заведено в колхозе.

Председатель, усмехаясь, почесал в затылке:

— Надо же, до такой мелочи не додумались! Выделим ему одного скотника. А тебе, друг, спасибо!

Утром, прежде чем сесть в машину, я решил зайти в магазин и купить кое-что детям. Несмотря на ранний час, в магазине былолюдно. Я заметил, что большинство покупателей сгруппировались не у прилавка, а в дальнем углу. «Что там такое?» — подумал я и направился в ту сторону. И вдруг увидел старика, лицо которого показалось знакомым. Он стоял, окруженный людьми, и что-то рассказывал.

«Где же я его видел?»

Меня охватило волнение, перед глазами предстала комната в далеком городе на Волге и молодая женщина в слезах.

Это был он и вроде бы не он.

Борода лопатой, с легкой проседью, теперь вытянулась, стала совсем белой, щеки — дряблыми. Да, время

не красит человека. И только шрам через всю правую щеку подтверждает: да, это тот самый человек.

Я раздумывал как бы мне заговорить со стариком, как вдруг услышал голос продавца Курбана:

— Мурад-джан, это ты? Здравствуй! Какими судьбами к нам. На днях читал твой очерк. Хорошо написано. Молодец!

Продавец обращался ко мне так, будто я был известным журналистом или писателем. Но я не был ни тем, ни другим. Просто иногда в свободное время писал небольшие статейки, информации о животноводах.

— Что, задумал о нас написать? — наступал между тем Курбан.

Я не стал объяснять зачем приехал, а, указав на старика, спросил:

— Кто это?

— Чарман — следопыт. И отец его был следопытом, и дед. Поэтому и фамилия у них — Изчиевы. Вот о ком тебе надо написать. Интересный человек, — развивал свою мысль Курбан. — Много он сделал добра на своем веку.

Я молчал, потому что считал себя не тем, кому под силу написать настоящий очерк о хорошем человеке. Но продавец понял мое молчание по-своему. Повысив голос, он обратился к старику:

— Чарман-ага, идите, пожалуйста, сюда!

А когда тот, не торопясь, подошел, представил меня:

— Этот молодой человек хочет познакомиться с вами, Чарман-ага, поговорить.

Старик посмотрел на меня, будто раздумывал, стоит ли иметь дело со мной. Я смутился и, еле подбирая слова, пробормотал:

— Мы с вами уже встречались...

В глазах старика я заметил интерес.

— Вот как? Что ж, пойдем ко мне, там за чаем и потолкуем.

Это приглашение не входило в мои планы. Но что делать? Не отказываться же.

Мы вышли из магазина и пошли по широкой улице поселка.

— Вы из центра? — спросил старик. И, не дожидаясь моего ответа, продолжал: — Недавно приезжал

ко мне такой же молодой человек. Поговорили о том, о сем, записал он все в свой блокнот и укатил.

Мне стало неловко. Конечно, Чарман-ага принимает меня за журналиста. Как ему сказать, что он ошибается?

— Чарман-ага, — начал я, — несколько лет назад мы встречались в городе на Волге.

Старик приостановился, посмотрел на меня, вспоминая, но так ничего и не вспомнив, ответил:

— Мы с тобой не встречались. А ты что, службу там проходил?

— Нет, был по другому делу. А вас там видел на похоронах.

Старик опустил голову. Шаг его сделался тяжелым. Казалось, ему стоит больших усилий передвигать ноги.

— Яшули, а этот джигит, он ваш родственник?

Я понимал, что не должен расспрашивать Чарман-ага о том, что, быть может, доставляет ему боль. Но в конце концов он сам пригласил меня поговорить, значит, рано или поздно, а беседа все равно состоялась бы.

Некоторое время мы шли молча. Видно Чарман-ага собирался с мыслями, а может, решил рассказать мне о том джигите за пиалой чая?..

Но я ошибся. Вздохнув, словно приступая к нелегкой работе, он начал свой рассказ.

— Человечество ведет свой род от одного отца и одной матери. Если поискать да поразмыслить, то получится, что все мы родственники. Сколько тебе лет? Ты должен помнить тридцать девятый год. Это был год «зайца». В этом году разлилась наша река, много несчастий она принесла. Все население района вышло поднимать на берегу дамбу. Работать было трудно. Все делали вручную, не то что сейчас. Песок возили тачками, утрамбовывали лопатами.

Я не мог понять, какое отношение имеет год «зайца» и половодье реки к джигиту из русского города, но молчал. Иногда человеку трудно кратко ответить на твой вопрос, потому что этот вопрос затрагивает что-то очень дорогое, хранящееся глубоко в сердце. И ответить на него можно только так: издалека, поведав с самого начала.

Чарман-ага рассказал, что вместе со всеми на строительстве дамбы работали Караван-джан и Огулхаллы. Они любили друг друга. И когда сын сказал, что хочет назвать Огулхаллы своей женой, Чарман-ага не стал

возражать. Осенью того же года они и поженились. Но недолго прожил с молодой женой Караван-джан. Вскоре его призвали на действительную службу в армию. А Огулхаллы вернулась к своим родителям.

«Почему же она не осталась в вашем доме?» — хотел спросить я, но не успел. Мы остановились перед домом, крытым шифером.

— Вот и мое жилье, — Чарман-ага открыл дверь, приглашая меня войти. — Дома никого нет. Женщины на работе, так что чай самим придется заваривать. Посидите, я быстро.

В дверь заглянула девочка лет десяти-двенадцати.

— Дедушка, чай будете пить? Принести?

— Принеси, — с лаской в голосе ответил Чарман-ага.

— Принеси, дитя мое.

Девочка убежала и спустя короткое время принесла два чайника чая. Старик уже разостлал сачак, поставил пиалы, положил чурек, горкой насыпал сушеный урюк и кишмиш.

— Соседи мои — хорошие люди. Придешь домой, сразу же проведуют, справятся, не нужно ли чего.

Чарман-ага подвинул ко мне чайник, пиалу, а сам вернулся к разговору, начатому по дороге. Я не прерывал его, решив выслушать его до конца. Машина все равно ушла, не дождавшись меня. Когда же будет следующая — неизвестно. Так что торопиться мне вроде бы и нечего.

— ...Что такое два года в мирное время? Мы их и не заметили, как быстро они пролетели. От Караван-джана письмо пришло. «Службу закончил. Готовь, отец, деньги на той. Еду!» Вернулась к нам Огулхаллы. Приготовили мы и деньги...

Остановившись на полуслове, старик с трудом сглотнул подкативший к горлу ком. Я уже догадался, что тоя в доме Чарман-ага не было: началась война.

Я слушал внимательно, но в голове все время билась мысль: «Какое все это имеет отношение к тому джигиту? Откуда Чарман-ага знает Бориса Степановича?»

А он продолжал:

— Месяца через четыре, в начале осени, пришло от Караван-джана письмо-треугольник. Он писал, что бьет фашистов и уверен в нашей скорой победе. Спрашивал

о нашем здоровье, об Огулхаллы. Письмо, видно, прошло через многие руки, оно было измятое, истертое по краям сгиба. На той стороне, где написан адрес и стоял штемпель, тоже было что-то написано. Мы долго разбирали непонятное слово, похожее на «Борисо...», но так и не поняли, что хотел еще сообщить нам наш сын...

Голос Чарман-ага задрожал. Есть воспоминания, которые даже спустя много лет волнуют, как только что пережитые события.

— В конце сорок первого года, — справившись с волнением, продолжал он, — мне самому пришла призывная повестка. Я, откровенно говоря, обрадовался. Ну, думаю, хоть фронт и большой, а вдруг и повстречаю своего Караван-джана! Но на фронт меня не послали, а стали обучать как по карте дорогу находить и всяким прочим навыкам. Тут я смекнул, что подразделение наше особое, не простых бойцов готовят. Как выяснилось позже, нас должны были группами забрасывать в помощь партизанам, действовавшим на территории, временно захваченной фашистами. Кроме того, мы должны будем и сами формировать партизанские группы в местах, где их пока не было.

Я понимал, что меня взяли сюда неспроста. Уже в то время к моему имени добавляли слово: следопыт. Много в свое время пришлось помогать красноармейским отрядам, ликвидировавшим банды калтаманов. Да и после Чармана-следопыта не раз приглашали на заставу, когда нужно было разгадать особо запутанный след.

Старик умолк, уйдя в воспоминание. Чайники были пусты. Хотелось есть. Я взял кусочек лепешки. Она была мягкой, видно, пекли сегодня утром. Чарман-ага поднялся, прошел в соседнюю комнату и вернулся с миской каурмы. Подовдинув ее ко мне, пригласил:

— Ешь, больше нечем тебя угостить. Вот придут мои хозяйки...

Я поблагодарил и попросил продолжать рассказ.

Чарман-ага улыбнулся:

— А мне показалось, что тебе неинтересно.

Я покраснел. Но старик не смотрел уже на меня, он рассказывал:

— Нет на свете существа выносливее человека. Нет дела, с которым бы он, при необходимости, не справился. В годы войны люди добивались немыслимого.

Нас было трое друзей. «Тройка» — так нас называли: Антонов, Агапов, Изчиев. И на задание мы вылетели втроем. Но после того, как приземлился в редком лесочке, я понял, что остался один. Не видно ни моих товарищей, ни костров партизан, которыми они должны были нас встретить. Я понял: ветром парашют отнесло в сторону. Позже я узнал, что это меня спасло, потому что в месте нашей выброски фашисты устроили засаду. Оба моих друга, отстреливаясь до последнего патрона, погибли.

Я решил оставаться на месте до утра. Где-то шел жаркий бой; слышались взрывы гранат, перестук винтовок, автоматные очереди. Несколько раз порывался идти в ту сторону, но тут же останавливался, вспоминая приказ командира: «В перестрелку не ввязываться. После приземления собраться вместе и дальше действовать по инструкции». Дождавшись рассвета и определив свое местонахождение, я пошел в направлении пункта встречи.

— Признаюсь тебе, сынок, трудно было идти по лесу. Это не то, что в нашей степи. Здесь каждый кустик тебе знаком, каждый камешек различие имеет. А там деревья все друг на друга похожи. Забрался я в бурелом — никакого выхода нет. Ну, думаю, тут тебе и конец. Напрасно надеялся на меня командир. Присел на полусгнивший ствол и думаю: «Как же это так? Чуть не все Каракумы прошел, в Копетдагских горах темной ночью любую тропку найду, а тут...» Сижую, думаю, что дальше делать. Вдруг совсем близко — автоматная очередь. Одна, вторая. И все в том направлении, куда мне идти. Меня, как током подбросило: друзья это мои отстреливаются, а я здесь сижу! Бросился я сквозь этот бурелом, и не знаю как выбрался. Вышел на большую поляну, залег, оглядываюсь...

Да, бой здесь был жаркий, воронки от гранат еще дымятся, лежат несколько убитых. Издали не поймешь: наши или немцы. Слышу: стон! Рванулся в ту сторону и остановился, — а если это фашист? Стон повторился. Нет, вроде по-русски, что-то приговаривает. Пополз я,

а сам автомат на взводе держу. В воронке увидел парня в телогрейке, ушанке, ранен в живот.

— Ты кто? — спрашиваю.

Его посеревшие губы чуть шевельнулись:

— Иван.

— И я Иван, — отвечаю ему. Но парню не до меня.

— Застрели меня, — просит.

Я растерялся.

— Мочи нет, — еле шелестят губы.

Нет, нет, я не могу этого сделать. И хоть что-нибудь сказать, говорю:

— Где твои товарищи?

В это время послышался шорох. Я тут же пригнулся и крикнул:

— Стой, стрелять буду!

— Свои, — ответили мне.

— Какие еще свои? — говорю.

— Иван, ты что — своих не узнаешь?

Я понял, что это пришли за Иваном его товарищи, и выглянул из воронки.

Так я оказался на базе партизан.

Чарман-ага замолчал. Он сидел грузный, сильно постаревший, и смотрел в одну точку. Мыслями он был там, в партизанской землянке.

Соседская девчушка поставила перед нами наполненные чайники, забрала пустые.

Чарман-ага очнулся.

— В тот же день командир отряда вызвал меня и еще четверых партизан. Обращаясь к ним, он сказал: «Товарищ Изчиев — следопыт. Он подберет укромное место. Там и подготовьте для нас запасной лагерь». В душе я одобрил намерение командира. Если фашисты узнали место нашей выброски, так же они могут узнать и местонахождение отряда.

Вернулись мы через неделю. Войдя к командиру, чтобы доложить о выполнении задания, я увидел там молодую женщину. Лицо ее было уставшим. Маленькая, хрупкая, она, казалось, вот-вот упадет обессиленная. Командир называл ее Лидой. Из их разговора я понял, что Лида — связная. Она принесла важные сведения: на ближайшей станции формируется еще один фашистский эшелон с танками, орудиями. Через Кенигсберг он пойдет на Ленинградский фронт.

— Иди, отдыхай, — отпустил командир Лиду.

Она прилегла тут же в его землянке.

Танки не попали в Ленинград. Эшелон полетел под откос в пятидесяти километрах от станции. Это было мое первое боевое крещение. Радость наполняла сердце: наконец, и я участвую в настоящем деле. Но радость омрачалась тем, что в тот же день фашисты схватили Лиду. Случайно в облаве или по подозрению, мы не знали. Командир сидел хмурый, курил одну «козью ножку» за другой. Я вспомнил, как несколько дней назад Лида сидела в этой землянке и докладывала об эшелоне. И как-то само собой вырвались слова:

— Лиду надо спасти! Нужно узнать, куда ее упрятали!

Командир посмотрел на меня отсутствующим взглядом и ничего не сказал. В это время кто-то большой в маскировочном халате вошел в землянку.

Я не обратил внимания на этого человека, так как все мои мысли были о Лиде, как вдруг услышал:

— Товарищ командир, по словам секретаря подпольной комсомольской организации товарища Петра, Лида арестована гестапо. В настоящее время ее держат в бывшем домике лесника на окраине села.

Расталкивая сидящих и стоящих партизан, я кинулся к человеку в маскхалате. Меня поразило не то, что он сказал, а его голос.

— А Славик где? — спросил командир.

— Славик с Лидой, — последовал ответ.

— Сынок! — вырвалось из моей груди.

Я не узнал своего голоса, но человек, принесший сведения о Лиде, быстро обернулся.

— Отец? Ты?!

Да, это был он, мой Караван-джан, мой сын, увидеть которого так жаждало мое сердце.

Многое нужно было сказать нам друг другу, но мы понимали, что сейчас не до того. Я успел только шепнуть, что Огулхаллы ждет его, а мать умерла... И заметил, как забелстели радостью и тут же потухли глаза Караван-джана.

Освобождение Лиды было делом нелегким, и, главное, опасным, поэтому в ударную группу вошли только добровольцы. Успокаивало то, что ее держали не в са-

мом гестапо, набитом солдатами, а в домике лесника, где была только охрана.

Надо ли говорить, что в этой группе были и мы с Караван-джаном. Я заметил, что какие-то особые отношения связывают командира отряда и моего сына. Ну, а я отстать в тот миг от Карван-джана не мог.

Командиром группы назначили опытного партизана Воронина. Пока мы шли по лесу и не нужно было скрываться, я успел рассказать о доме, а Караван-джан о том, как попал к партизанам.

— А знаешь, отец, — сказал он, — наш командир из Ашхабада.

— Да? — удивился я.

— Он воспитывался в детдоме. И зовут его Бекмурад.

— Он туркмен?

— Нет. До войны был командиром нашей роты. Лида — его жена, а Славик — сын.

— Вон оно что!.. — растерянно проговорил я.

Послышался предупреждающий сигнал Воронина: мы выходили на открытую местность.

Домик лесника, окруженный высоким дощатым забором, стоял на отшибе. Это облегчало задачу: подступы к нему хорошо просматривались. Караван-джан отправился на разведку. Оказалось, что вход в дом охраняют всего два солдата, больше во дворе никого не видно. Сколько же было фашистов в доме, узнать не удалось.

— А собаки есть? — спросил кто-то.

— Нет, — ответил Воронин. — Иначе бы вы уже слышали их голос.

Вокруг сдержанно засмеялись.

Я оглядел своих товарищей; лица их напряжены и решительны. Они знали, на что идут и были готовы на все. Командир группы наметил план подхода и наших дальнейших действий. После нескольких уточнений мы приступили к его выполнению.

Вокруг стояла тишина. И только из домика доносились женские крики и детский плач. По ним мы определили, что схватили Лиду не одну, вместе с нею случайно попали и жительницы села.

Оглядев забор, мы решили делать подкоп. Промерзшая земля поддавалась нелегко. Караван-джан не мог пролезть в узкую щель под забором. Я был сухощавее сына и уже в плечах. Быстро я оказался по ту сторону

забора. Теперь нужно было подобраться к окнам, выходящим во двор, и постараться узнать, где держат Лиду с сыном.

Я ухватился за решетку окна, подтянулся, отыскивая щель в плотной занавеске. В глаза ударил узкий луч света. В это время сзади бросили камешек. Это было сигналом опасности. Значит, один из солдат пошел в обход дома. Я кинулся к забору, прилег. Часовой, обойдя дом, снова вернулся ко входу.

Как ни мал был просвет в занавеси, я увидел Лиду, и плачущего Славика, перебегающего от одного немца к другому. А они, развалившись в креслах, подманивали мальчишку куском хлеба.

Обо всем этом я шепотом рассказал ребятам. Пока я подбирался к окну, Воронин и Караван-джан осмотрели все вокруг. В небольшой пристройке храпели еще два эсесовца, смена охраны. Значит: четыре солдата и два офицера. Немного. С этим мы справимся, если не подоспеет помощь. Но командир позаботился — телефонный кабель был оборван.

Издали слышался крик Лиды. Мы взволновались: что если пришел ее последний час? Все заторопились. Воронин, Караван-джан и еще трое двинулись к воротам, которые я должен был открыть изнутри. Но сделать этого не успел. Из темноты вдруг просигналила машина, фары ее были погашены. Часовой-эсесовец, грохоча тяжелыми сапогами, подбежал к воротам.

Я замер. В то время, когда машина въезжала во двор, на крыльцо, вышли два офицера. Один что-то спросил у другого, тот раздраженно ответил. Позже я узнал, что первый фашист предлагал расстрелять Лиду, а второй ответил: «Подождем до утра, мы же ничего от нее не добились».

Выждав, пока машина с офицерами отошла на порядочное расстояние, я подполз к воротам. Немцы у дверей домика загалдели, почуяв неладное. Не скрываясь я поднялся во весь рост и, открыв задвижку ворот, отскочил в сторону.

— Хальт! — слышалось сзади.

Но тут ворота распахнулись и партизаны кинулись к домику. Фашисты успели дать только по одной очереди и замолкли навеки.

Все это заняло немного времени. Мы освободили женщин, наказав им не появляться в селе, а спрятаться подальше. Лиду и Славику забрали с собой.

Скрываясь в редколесье, цепочкой мы шли в направлении отряда. Ребенок прикорнул у меня на спине. Лида тяжело оперлась на руку Караван-джана. Бедная женщина, что ей пришлось пережить!..

Чарман-ага надолго умолк. И я, думая, что рассказ окончен, покашлял в кулак. Но Чарман-ага, взглянув на меня и как бы угадав мои мысли, сказал:

— Нет, это еще не конец. Те две очереди, что успела дать охрана, слышали в селе. Погоню мы обнаружили, когда почти подходили к своему лагерю. Но, странное дело, нас никто не встречал, как было договорено с командиром отряда. Мало того, оттуда слышалась пулеметная и автоматная стрельба.

— Отец, — обратился ко мне Воронин. Вы знаете место запасной базы. Лиду и Славику доставьте туда. Мы идем на помощь отряду.

«Как же так, — подумал тогда я. — Всего одну ночь я побыл с сыном и снова расставаться?» Но вслух ничего не сказал: приказ есть приказ. Мы обнялись с Караван-джаном. И это было наше последнее объятие. Горсточка партизан попала между двух огней: сзади теснила погоня, впереди — фашисты, напавшие на отряд...

Мне послышался какой-то всхлип. Я поднял голову. Старик сидел прямо, глаза его были сухи.

— Мы так и похоронили их вместе, рядом, как погибли в бою, — продолжал дальше Чарман-ага, — моего Караван-джана и Сашу Воронина. Там лежат они и до сих пор: на опушке леса, неподалеку от железной дороги, идущей на Смоленск. Я долго стоял у их могилы. Командир обнял меня за плечи и сказал по-туркменски:

— Будь мужественным, отец!

Прямо в сердце кольнуло это слово: отец! Никогда больше не назовет меня так мой Караван-джан!.. И тут я вспомнил, что сын хотел рассказать мне о своем командире и о том, что их связывает.

— Я знаю, о чем он хотел вам рассказать, — ответил мне командир. — Мы побратались с ним. Караван-джан мой брат, значит, я — твой сын, отец!

Дверь комнаты открылась, и Чарман-ага умолк. Вошел юноша, поздоровался со мной и, обращаясь к старику, сказал:

— Дедушка, я пойду к маме Огулхаллы. Она наказывала мне прийти к ней на работу?

— Это ваш внук, сын Караван-джана? — спросил я, когда юноша ушел.

— Нет. Это младший сын нашего командира. А старший — Славик — на военной службе в тех местах, где мы партизанили. Не мог я оставить их одних — Лиду и ребятишек, — когда умер Бекмурад. Привез их сюда. Лида на ферме работает. Огулхаллы — на тракторе. Тоже с нами живет. Так что у ребят, как видите, две матери.

— Вы сказали: Бекмурад... — напомнил я.

— Так мы звали Бориса Степановича Терехина, нашего командира. Когда он малышом попал в детдом, нянечки приняли его за туркмена и называли Бекмурадом. А по-туркменски говорил не хуже нас с тобой.

Вот так и живем мы дружной семьей. Огулхаллы не захотела уйти к своим. «Буду, — говорит, — ждать Караван-джана». А какое там ждать, когда я вот этими самыми руками похоронил его. Ну да пусть ждет, может ей так легче жить...

Много минуло дней после нашей встречи с Чарманом-ага. Но история, рассказанная им, живет в моем сердце. Я поведал ее своим детям, они перескажут ее своим. Так из поколения в поколение будет передаваться история братской фронтовой дружбы, о которой так хорошо сказал в своих стихах поэт-фронтовик Халдурды:

Многих звал я: «мой друг» — на веку своем.
Но таких, как в бою, не встречал друзей.
Как о дружбе такой написать пером?
Не видал я и тени притворства в ней.

За тебя он в огонь и в воду идет,
Сам умрет, но в беде не бросит тебя,
Если в битве падешь ты, — из года в год
Будет помнить он, душою скорбя.

СЛАВА НЕ УМОЛКАЕТ

...Тем и дорога для меня наша журналистская работа — что вот уже в который раз сталкивается она с людьми, чьи имена навсегда вписаны в историю Родины. Не так давно как раз с заданием подобного рода я направился в родные места — Теджен.

Дальний путь одному в кабине «Жигулей» — всегда в тягость. Возьму-ка я пассажира, кого придется... С этой мыслью я завернул на автостанцию. Затормозил, оглядываю народ. В глаза сразу бросился высокий, крупного сложения человек. В годах, степенный, борода лопатой. Стоит, большой палец левой руки за ремень заложил, кого-то выглядывает на дороге. Я всмотрелся: хоть человек и пожилой, однако сразу видно: пальваном в свое время был, да и сейчас еще здоровяк, бодрости не утратил. Скулы так и выдаются, крепкие, словно каменные, — признак воли, упорства. На голове тельпек из дорожной смушки дымчатого оттенка. А взгляд черных глаз внимательный, зоркий, в нем угадывается и острый ум, и богатый опыт.

Я вышел из машины, вежливо приветствовал незнакомца, пригласил...

— Понимаешь, чуть улыбнувшись, заговорил он, — за мной машину должны были прислать. Да, видно, задержка вышла... Что ж, если подбросишь меня, дело доброе. Верно говоришь, одному ехать — тоска. Мне до Душака только, поговорим, скоротаем время. А там и до Теджена рукой подать.

...Спутник мой в дороге все глядел по сторонам, молчал. Проехали поселок колхоза «Совет Туркменистаны», одного из самых передовых в республике. Какой там поселок — ни дать, ни взять благоустроенный, цветущий городок! Дальше — новая железнодорожная станция возле древнего Аннау. Вижу, у старика глаза так и загорелись восхищением. А когда проезжали мимо совхоза имени Девяти ашхабадских комиссаров, утопающего в густых садах, он не удержался, воскликнул:

— Ох-хо-хо-о!

— Что вы, уважаемый? — обернулся я.

— Жизнь! — только и выговорил он задумчиво.

Машина между тем приблизилась к памятнику, воздвигнутому на том месте, где погибли девять отважных.

Вижу, спутник мой посуровел, глаза сузились, не отрывает взгляда от скорбного и величественного обелиска.

— М-м-м... — он подавил стон, когда мы поравнялись с памятником, горестно покачал головой.

Мне были понятны его чувства. Каждый, кто бы здесь не проезжал, ощущает подобное. Люди не забудут, не устанут прославлять героев.

— За нашу долю жизнь отдали люди, — как бы подслушав мои мысли, задумчиво произнес старик. — Не узнать бы им теперь здешних мест. Прежде тут одни шакалы бегали... Ох-хо-хо-ов! А теперь? Ты только погляди! — Сделав выразительный жест рукой, он начал бегло перечислять, что и когда построено в здешних местах, каковы достатки людей в окрестных аулах... Я не стану пересказывать все, что он говорил. Разве удивишь этим нынешнего читателя? Конечно нет.

Мы подъехали к мосту, пересекающему Каракумский канал имени Ленина — Канал счастья, как у нас его нередко называют. Здесь я остановил машину. Пассажир мой вышел, облокотился о перила моста:

— Ты только полюбуйся на эту чудо-реку! Ведь в прежние времена, чтобы ее провести в песках, туркменам потребовались бы столетия!

Он поднял голову. Оглядел белеющие невдалеке аккуратные домики одного из совхозов, недавно созданных в зоне канала, просторные, с ровными бороздками хлопкового поля — и вдруг запел вполголоса:

Разрытым кладбищем, безмолвною пустыней —
Таким ты взору представал, Кесе-Аркач...¹

Какая-то песня прежних времен. А может, он сам ее сочинил?

...Ковром из алых роз тебя устлали ныне
Твои сыны — питомцы счастья на века!

— О, яшули, да вы, оказывается, поэт! — улыбнулся я. И тотчас пожалел — ему, похоже, не понравилась моя усмешка: густые брови сдвинулись, лицо посуровело. Меня немного забавляло его волнение, но я держался невозмутимо.

¹ Кесе-Аркач — равнина, с севера прилегающая к восточным отрогам Қопетдага.

— Мне, кажется, яшули, вы считаете пределом то, что здесь достигнуто сегодня?

В голосе моего спутника звучали нотки обиды:

— Нет, я совсем не думаю так. И прошлое я вспоминаю не просто ради того, чтобы снова прославить достигнутое. Скольких мучений, какого труда все это стоило — вот чего не следует забывать...

Помолчав, он жестом руки указал на юг, туда, где вдоль отрогов Копетдага черною змейкой пролегла железнодорожная колея:

— Видишь, там сейчас пустошь, безлюдье. Так вот, послушай: в самом ближайшем будущем эти места, да и весь Кесе-Аркач от края до края покроются густыми тенистыми садами, а в них — яблоки, груши, гранаты, урюк. Виноградники взбегут по склонам гор...

— А откуда у вас такая уверенность?

Вместо ответа он снова облокотился о перила моста, устремил неподвижный взгляд на поверхность воды, на легкие волны, которые нагоняя одна на другую, с разбегу ударялись о песчаные, с выбоинами, берега. Потом вздохнул с облегчением, расправил плечи, правой рукой разгладил бороду, и произнес раздельно:

— Так будет! И за все это — благодарность и вечная слава отважным!..

Я уже свыкся с довольно необычною, несколько выпрренной манерой моего спутника высказывать свои мысли и, думается, правильно понял его ответ. Да, благодарность отважным! Тем, кому были неведомы усталость и уныние, кто ради счастья народа стойко переносил голод и жажду, а когда требовалось — отдавал и жизнь. Таких героев не счесть у моей Родины.

Когда тронулись в путь, мы с моим спутником обменялись еще несколькими фразами на эту тему. В то же время с неслабеющим интересом глядели по сторонам.

— А по сторонам — раздолье, красота неопишуемая! Трудолюбивые дехкане-каахкинцы — мы уже въехали в пределы их района — насколько хватает глаз высеяли зерновыми степные просторы вдоль всего шоссе. Свежо и молодо зеленеют нивы озимого ячменя, чьи корни крепко впились в исконе засушливую почву. В отдалении лениво бредет по неровной степи стадо овец, оно то взбирается на возвышенность, то исчезает во впадине...

— Сейчас только еще зима кончается, вот и зелени немного, — словно угадав мои раздумья, подал голос пассажир. — А если б летом ехали мы с тобой в этих местах — ох-хо-хо, просто глаз не оторвать!

И в самом деле, весной и в первые летние месяцы этот уголок нашей земли необычайно красив. Под жгучими лучами солнца лед и снег на горах плавятся и шумными потоками низвергаются вниз, на равнину. Небо по весне что ни день разражается обильными дождями, они освежают воздух, умывают лицо степи. В бархатный халат укутывает ее на много дней пушистый мятлик. Бурно вздымаются повсюду травы с крепкими, уходящими в глубь почвы корнями. Пройдет еще немного времени, и поднимут головы маки и тюльпаны — украшение весны, с цветками алыми, будто раскаленные уголья. Бугорками вздымая почву, покажутся на свет гелин-комелек — «невестины грибы», похожие на подушечки, обтянутые красно-фиолетовым шелком «дараи».

Мне казалось, мой спутник так же, как и я, представил себе подобную картину. Однако он внезапно проговорил:

— А я еще помню вот эту самую степь горькую, вытоптанную сапогами беляков и английских интервентов...

Впереди забрезжали дома и сады поселка Каахка.

— Слушай, — обернулся ко мне пассажир — в шестидесятом году здесь установили памятник одному из героев гражданской войны. Давай заедем! Долго не задержимся...

Мы подъехали... Вокруг скромного постамента с бюстом героя — цветы, множество букетов. Имя героя — золотом на мраморе «Александр Григорьевич Гинзбург». Об этом замечательном человеке и я, разумеется, немало слышал и читал, кое-что из прочитанного пересказал теперь моему спутнику. Он внимал молча, склонив голову, не отводя взгляда от памятника. Какой-то паренек прислушался к моим словам и наконец проговорил:

— А у нас в районе живет соратник товарища Гинзбурга. Даже однополчанин...

— Этот человек и сам совершил много подвигов, — — затараторила стоявшая здесь же кареглазая девчушка в красном галстуке. — Нам про него говорил учитель истории.

— Вот как? — я обернулся к девочке. — Кто же он? И где живет?

— Его зовут Лаллык-хан. А живет он в Душаке. Знаете, — у нее разгорелись глазенки, — в Берлине есть постамент славы. На нем наш танк—«Т-34». И на броне этого танка написано имя Лаллык-хана! Учитель говорил: скоро у нас в школе будет с ним встреча...

Да, завидная судьба у человека, если имя его — на постаменте славы далеко за рубежом, если оно—на языке у старого и малого в родном краю!

Лаллык-хан, а точнее — Ханов, Лаллык... Это имя мне, конечно, тоже доводилось слышать. А что, если сейчас, по пути, встретиться с замечательным земляком? Может, и написать о нем удастся... Верно, более удобного случая и не представится. Со мной в машине — односельчанин Лаллык-хана, он и дорогу покажет.

— Яшули, простите, вы ведь из Душака? — Нерешительно начал я, когда машина тронулась с места. — Наверное, знаете Лаллык Ханова, о котором вот только что ребяташки сказали? Я хотел бы с ним познакомиться...

Мой спутник в ответ лишь хмыкнул непонятно. Я так и не понял, исполнит ли он мою просьбу. Переспросить не решился, однако встревожился. Глянул на него через плечо.

— Ты, братец, лучше на дорогу смотри! — тотчас с лукавинкой бросил мой спутник. — Вот ведь штука: говорят, люди пищущие — разговорчивые, а по тебе этого не скажешь. Посадил пассажира, так спроси, кто он, как зовут. А ты — нет... И свое имя не назвал. Как ты только пишешь — не понять...

Старик не зря подтрунивал надо мной: даром красноречия я и в самом деле не обладаю. Пришлось извиниться, рассказать о себе.

— Да, еще раз простите, уважаемый... обо мне-то вы теперь знаете, но я еще не знаю вашего имени. «Раз увиделись — знакомые, еще раз — уже родные», — так в народе говорят... Так как же вас зовут?

Но в ответ он сперва гулко захохотал, потом сказал:

— Потерпи, приедем ко мне домой. Тогда и потолкуем за чаем, и познакомимся основательно.

Заезжать в дом к совершенно незнакомому человеку, распивать с ним чай — это никак не входило в мои планы. Хотелось поскорее встретиться с Лаллык-ханом,

услышать из его собственных уст обо всем, что он совершил за свою долгую, славную жизнь. Но какая еще выйдет встреча... Сомнения этого рода я, не таясь, высказал спутнику.

— Лаллык-хан не совершил ничего сверхъестественного, что отделило бы его от народа, — немного ворчливым тоном отозвался тот, видимо, не принимая всерьез мои опасения.

Тем временем мы подъехали к Душаку, покатали улицей поселка.

— Вон туда, направо, к тому дому, — показал старик.

— Отдохнем немного, перекусим. Там, глядишь, и подойдет Лаллык-хан. Ему без малого восемьдесят, — небось, далеко от своего дома не убежит...

Видно было: человек приглашает от чистого сердца. Отказываться — и думать нечего. Подъехали к воротам, остановились; мой спутник вышел из кабины, широким жестом окинул поселок. Пояснил:

— Колхоз наш называется «Москва»!

...Дома колхозников — многокомнатные, однотипные, все под шифером — нанизаны вдоль широкой улицы, точно серебряные бляшки на нити «сатира» — старинного женского украшения. Перед каждым домом участок земли — меллек, большую часть которого занимает сад, а в нем — плодовые деревья разнообразнейших сортов. В самом центре поселка Дом культуры внушительных размеров, неподалеку школа с веселым гомоном ребячьих голосов. Чуть в стороне — колхозные мастерские, гаражи, склады. Тут не счесть всевозможной техники — автомашин, тракторов.

— Видал? — подмигнул мой спутник. — А в сорок шестом году всего-то была у колхоза одна полуторка. Да и ту достал по случаю не кто иной, как все тот же Лаллык-хан.

— Как так? — невольно вырвался у меня вопрос. — Где же он ее взял?

Собеседник мой с ответом не спешил: Помолчав с полминуты, завел речь издалека:

— Совсем вроде недавно жили мы в черных кибитках с острым верхом. Свяжешь остов из камыша, прутья покрепче стянешь, а снаружи обмажешь глиной. Вот тебе и лачуга! Слепишь себе такое вот жилье — и кажется

оно краше, чем шахский дворец. А если раз в месяц кино немое в колхоз привезут, так ты от радости в собственном халате не умещаешься. — Он умолк, пристально взглянул мне в лицо: — Где, спрашиваешь, Лаллык-хан полуторку достал?

— Да...

— Не спеши, дружок. И об этом расскажу.

— Похоже, вы близко знаете Лаллык-хана.

— Очень даже хорошо знаю.

С этими словами он распахнул ворота. За ними оказался просторный двор, посредине — кран водопроводный, наполовину открытый; журчит, бежит вдоль цементированной канавки чистая вода. Дом просторный, добротный: три комнаты, с коридором, застекленной верандой. Вхожу вслед за хозяином. Стены жилых комнат увешаны коврами, на полу — кошма, вытканная бордовыми цветами. На одной из стен, в застекленной раме, большой фотопортрет хозяина. Ни погон, ни пилотки, однако едва глянешь, сразу видно: изображен человек военный. По плечам ремни, на голове кубанка с пятиконечной звездочкой.

Оторвав взгляд от портрета, я вопросительно посмотрел на хозяина.

— Да пришлось немного послужить в свое время, — тотчас понял он мой вопрос, затем распахнул дверь в соседнюю комнату, где на полу, на ковре, уже был разостлан сачак, а на нем — чурек и сласти. — Милости прошу!

— Иного человека нелегко бывает вызвать на рассказ о самом себе, — проговорил я, опускаясь на ковер. — Может, и у Лаллык-хана такой характер?

Мне подумалось: хозяин поймет намек и для начала сам кое-что расскажет о своем знатном односельчанине. На всякий случай я приготовил блокнот и ручку.

— Не-ет, Лаллык-хан совсем не такой. Что пережил, все расскажет, без церемоний. Да-а... — старик помолчал, уселся поудобнее:

— Было это, видишь ли, если память не изменяет, году, значит: в девятьсот седьмом, девятьсот восьмом... Зима выдалась суровая, и мой отец тогда зимовал в песках с отарами Агаджан-бая. Опытный чабан был мой отец, знал, каково у нас в Этеке в такую зиму — весь скот можно потерять, если зазеваешься. Старался изо

всех сил... Скотину почти всю уберег, а сам, в одной низинке, в глубине Каракумов, замерз горемычный, в зеленую глыбу льда превратился! А мне тогда шел всего десятый...

Признаться, я ощутил огорчение и беспокойство. Вместо того, чтобы рассказать о Лаллык-хане, хозяин повел речь о своем детстве. А прервать — неудобно. Делать нечего, я принялся как попало — то ли пригодится, то ли нет — записывать его рассказ. Он же, словно ничего не замечая, продолжал:

— Три сестренки у меня было: Чебшек, Огульнабат, Сюльгюн. Нашу маму звали Саппы. Как же теперь, потеряв кормильца, наша бедная матушка — сама-то с кулачок! — вырастит четверых! Ведь подумай, в те времена — где она власть, помощь какая, или хотя бы свой меллек? У богачей-то и камня сухого не выпросишь...

Несчастливая мама, как сейчас помню, схватила меня за руку, сестренкам велела следом бежать — и к дверям байской кибитки. Выходит к нам бай. Глаза кровью налились. Твой муж, говорит, болван этакий, пол-отары мне погубил! Так что же нам теперь делать? — это мама говорит.—Куда идти? Сама плачет, слез не утирает. Так-то, братец, глаза бы не глядели, плечи бы не ведали. Только в сказке и услышишь такое... А вот мы все это испытали, пережили.

Однако, братец, нужно и правду сказать: были все-таки и у нас в ауле люди милосердные. На арыке, повыше аула, в те годы стояла мельница. Построил ее все тот же Агаджан-бай. Силу мельнице давали ручьи, что бежали с журчаньем от горных склонов. Вот она-то и стала спасеньем для нашей семьи. Каждый день на заре матушка приходила сюда вместе с нами. Кому помочь мешок доверху насыпать, кому на ишака взвалить, рассыпанные зерна поднять, возле входа подмести, — глядишь, и насобираем на пропитание.

Как-то явился на мельницу Агаджан-бай. Поглядел, насупился.

— Хоть никто, — бурчит, — спасибо тебе не скажет, а все же, доброе дело кинь в реку — рыба не заметит, а аллах все равно заметит. Вот и ты: каждое утро полей-ка вокруг мельницы и подмети. Ну, а я уж отсыплю зерна тебе фунта три-четыре. И мальчика своего, чтоб у

него штаны не свалились, посылай-ка подпаском к моим чабанам.

Тут, мир для меня словно сделался просторнее. Ма-тушка от радости каждого из нас, детишек, к груди при-жимает, слезами умывается, бедная.

— Видите, — говорит, — какой добрый наш бай-ага. Благодарение творцу, милосердие ниспослал он в серд-це нашего бая!..

Тут мой собеседник ненадолго умолк. Молчит, а сам нет-нет, да и глянет искоса на своего гостя.

«Лучше б вы все же рассказали про Лаллык-хана», — чуть было не вырвалось у меня. Хозяин, однако, по-ви-димому, не допускал мысли даже, чтобы его перебили. А умолк лишь потому, что, без сомненья, воспоминания о былом его же самого глубоко взволновали.

— Так, — я первым прервал паузу, желая подбод-рить рассказчика. — И что же дальше?

— Дальше? Целых семь лет проходил я тогда следом за отарой, а потом и говорю матери: пора у бая плату потребовать. Она диву далась: что, мол, такое ты гово-ришь, сынок? На пороге смерти вымолила я, чтоб тебя сделали чабаном. А теперь — еще и плату? Не огорчай нашего бая, прогонит — земля жесткая, а небо высоко... Нет, говорю я ей: если отвагой сердце загорелось, — и земля не такая уж жесткая, и до неба — рукой дотя-немся!

А знаешь, братец, отчего мне в ту пору отвага в сердце запала? Гром Октября долетел до наших песков. Как раз в те дни к нам на чабанский кош добрался че-ловек — его уже тогда большевиком называли. Это Ан-намурад-Потра; он и сейчас в Теджене живет: Он ска-зал: «Взошло солнце бедняков, скоро будете владеть и землею, и водой!» Но только, братец, раньше времени храбриться мне не следовало. Октябрьская заря уже взошла, однако бай пока еще могли справиться с таки-ми, как я, голодранцами. Пришел я требовать плату, а бай раздулся от злости, как варан.

— Твой отец, — кричит, — пол-отары у меня погу-бил! Если ты такой смелый — сперва уплати все, что твоя семья мне задолжала. Плати долги отца, чтоб он спокойно лежал в могиле! А пока не расплатишься — чтоб мать твоя к мельнице близко не подходила!

— Вах, что же нам теперь делать горемычным? —

плачет моя матушка. Упала в ноги баю. — Да стану я жертвой ради вас, бай-ага!.. — умоляет она. Пожалейте!

Бай выгнал ее из дома. А вслед крикнул: есть, мол, у вас эти... «балшабеки», вот пусть они вам и помогают.

Матушка его слова запомнила, только понять не могла.

— Сынок, о чем это он? — спрашивает.

Как умел, я растолковал ей про большевиков. А потом и говорю:

— Пойду-ка я к ним. Уж они сумеют вытребовать у бая все, что нам положено.

И пошел, вместе с еще одним сиротой вроде меня, искать Аннамуроада-большевика. Нашли мы его в ауле неподалеку от Теджена.

— Не огорчайтесь, не унывайте, — сказал нам Аннамуроад, — скоро все устроится.

Направил он нас к одному человеку, который в глубине песков саксаул заготавливал на дрова.

— Работайте там, — наказывает, — сил не щадите. Это не просто дрова — это пули в сердце баям!

Прибыли мы в пески, неподалеку от станции Уч-Аджи, грузили саксаул на верблюдов, отвозили на станцию. Топливом обеспечивали отряды большевиков. И вот однажды со стороны Ашхабада... погоди, братец, дай вспомнить, когда ж это... А, в середине восемнадцатого, летом! Да, вот, значит, вдруг на станцию — эшелон за эшелоном, с людьми, пушками, какими-то грузами. В Уч-Аджи долго не задерживаются — скорее дальше, на Чарджуй. Одеты люди кто во что, много наших дехкан, в тельпеках да халатах. Другие, видно, русские, — выглядят по-рабочему. Что за войско? Куда торопятся? Да ведь это и есть большевики, говорят нам, — те самые, что за бедняцкую долю воюют!

Войско большевиков возглавлял товарищ Паскуцкий, Николай Антонович. Вызвал он нас — тех, что саксаул заготавливали, поблагодарил за усердие и говорит:

— Контрреволюционеры подняли мятеж, из-за этого мы и вынуждены отступить в сторону Чарджуя. Но белых мы все равно прогоним, в этом сомнения нет! Кто хочет идти с нами, пусть собирается в Уч-Аджи. Идите, объявите в аулах.

И вот, дня через три на станции — столпотворение. Кого только здесь не было! Русские, туркмены, киргизы, курды, таранчи¹, белуджи... Всех погрузили в вагоны и живо — к станции Равнина. Винтовки раздали; тех, кто не умел с ними управляться, стали учить. Но, братец, времени-то не оставалось подготовиться как следует. Белые во главе с Ораз-сердаром вплотную приблизились к нашим позициям. Трудно нам тут пришлось. Но вот однажды разнеслась весть: к нам на подмогу приближается Казанский красный отряд.

Тут все духом воспрянули. Сколько-то времени прошло — подоспели товарищи на помощь, соединили свои силы с нашими. И тут мы вместе с Казанским отрядом как двинули по врагу! — Он — бегом на запад. Станцию Уч-Аджи поджег, пути разрушил, стал закрепляться возле Байрам-Али...

О том, что рассказывал старик, я, конечно, и раньше слышал. Знал, что Аннамурад-Потра, упоминавшийся в его рассказе, — это поныне здравствующий Сарыев Аннамурад, орденоносец, активный участник гражданской войны и борьбы против басмачей. Впрочем, одно дело читать о событиях, совсем другое — услышать о них от человека, который сам пережил тяготы и горести...

А мой собеседник тем временем продолжал:

...Итак, значит, противник укрепился под Байрам-Али, а мы, тем временем железную дорогу восстанавливали. — Ты, братец, должно быть знаешь: в то время был в Теджене окаянный Эзиз-хан. Много же он причинил нам вреда! Мы гонялись за ним в песках и уж было совсем обложили, но он своих головорезов увел к станции Каахка.

Многое мы пережили, многое перетерпели, столько жертв принесли, товарищей потеряли — а все-таки шаг за шагом продвигались вперед. И настроение у бойцов было приподнятым. Думалось: вот скоро вернусь я в родной аул. В своей кибитке — посижу, локоть на подушке, чаю свежесваренного попою вдоволь. Обрадую маму, сестренку: мы победили, отныне горе-нищета больше не переступит нашего порога. Но не так все получилось...

¹ Так в русском Туркестане прежде называли уйгуров.

Он умолк. Мне подумалось: этого пожилого человека можно бы назвать главой целого рода. Когда мы появились, детвора, подростки сбежались со всех концов. Только и слышно: «Дедушка!», «Отец, здоров ли ты?» — «Видишь?» — подмигнул мне тогда старик. — Вон какая орава!» Но сейчас... Он выглядел, словно человек, внезапно оставшийся совершенно одиноким. Вдруг расслабился, осунулся, слова не может вымолвить. Потянулся к чилиму, глубоко затянулся дымом... Поперхнулся, закашлялся, махнул рукой:

— Один я тогда остался, братец. Только ветер гулял на том месте, где стояла наша черная кибитка. Сестер Чебшек и Огульнабат голод скосил. Моя матушка взяла с собой младшую дочку Сюльгюн, да и пошла куда глаза глядят... Мне бы их поискать, но нет времени — как раз тогда враги обошли нас со стороны Теджена, перерезали железную дорогу. На помощь белым пришли англичане. Попали же мы, братец, в переделку! Снова Чарджуй оказался в опасности. Ну, тут и оказалось: о наших делах знает Москва... Подоспела к нам подмога, да еще какая! Бронепоезд из России пришел... Уж тут-то беляки, интервенты, всякие там Эзиз-Гезизы не смогли выдержать нашего напора. Как в мае девятнадцатого начали наступление под Равниной, так и закончили тем, что выгнали всех врагов вон с нашей земли. Было это в первых числах февраля двадцатого года...

Сколько долгих лет оставил за плечами мой собеседник — и все-таки помнит почти безошибочно, что, где и когда свершилось; помнит не только годы и месяцы — даже дни. Прямо-таки живая энциклопедия!

— Местное население наше, дехкане, — продолжал он, — оказали громадную помощь красным войскам. Ты слышал про таких людей: Курбандурды Атамурад, Кизыл-хан, Топпы-бай, Оразмет-Бурказ?

Да, я знал, что Атамурадов Курбандурды долго возглавлял один из колхозов в Туркмен-Кала, близ Мары, и скончался, наверное, лет пятнадцать тому назад. Кизыл-хан Сарыев, по словам стариков, был поначалу сотником в войске Эзиз-хана, однако распознал сущность этого кровожадного бандита, и вместе со своими всадниками перешел на сторону красных. Два других имени мне были незнакомы.

— Вот, всех их я хорошо знал, — помолчав, проговорил мой собеседник. — Они, в качестве выборных от трудящихся марыйцев, помогали нам, доставляли в отряд продовольствие, одежду, обувь. А рассказывал я тебе, что впоследствии случилось с Соколовым, командующим Закаспийским фронтом и с Гинзбургом, комиссаром Казанского отряда?

— Нет...

— Гинзбург погиб в августе восемнадцатого, когда мы штурмовали Каахка. Его я хорошо знал, потому и памятник часто навещаю. Ну, а Соколова тоже пуля куснула под Каахка. Но повоевал он еще долго. Когда оправился от раны, был направлен в Фергану. А героической смертью погиб уже в тридцать первом году, когда воевали с басмачами в Каракумах.

Старик откинулся на подушки. Я молча разглядывал его, окладистую пышную бороду, морщины на широком лбу, подбородок с уже отвисшими складками смуглой кожи. Разглядывал — и словно оживали перед моими глазами все неисчислимые жертвы, все тяготы, которыми оплачено утверждение нашей сегодняшней жизни. Как будто на свои плечи перекладывал я все, пережитое в прошлом такими вот ветеранами. Тут я вспомнил его слова: «Лаллык-хан тоже не совершил ничего такого, что возвысило бы его над людьми, просто он исполнял свой долг.» Не спросить ли мне, наконец-то, про самого Лаллык-хана? А старик тем временем продолжал спокойно, неторопливо:

— Не думай, братец, что зажили мы сразу счастливо и спокойно. Нашлись тут всякие — Ата-Меанали, Котуркул-калтаман... Защищали баев, мешали создавать первые колхозы. Но подумай: разве каких-нибудь три-четыре негодяя, будь они даже на конях и при оружии, сумеют задержать, остановить то, что нарастает, катится, словно могучий сель в горах? Да и самому фашизму разве оказалось это по силам? — он громко, победно расхохотался. — Когда окончилась гражданская война, бойцы и командиры нашего полка еще долго оставались на службе. Я тоже подал рапорт, попросился на границу. Так и служил я до самого тридцать четвертого года, пока меня не отозвали в родные места и не выбрали председателем сельсовета, — старик внезапно рассмеялся, как будто пораженный тем, что сам же сообщил: —

Я — и вдруг председатель! Кто я? Вчерашний подпасок, бездомный бедняк, сирота!.. Много раз я задавал себе такой вопрос — и всеми силами стремился оправдать доверие людей, не щадил себя. Когда я работал председателем немалую помощь оказывали нам пограничники, оберегали колхозное добро от врагов. Еще больше помогли нам они в годы войны. Сам знаешь, братец, в то время по аулам редко можно было встретить человека в тельпеке, вся тяжесть труда упала на плечи женщин и ребятишек. А фронту нужен хлеб, ячмень. Вот друзья в зеленых фуражках и приходили на помощь, когда необходимо было прокопать новые арыки, засеять поля, собрать урожай. За это колхозники Душака навеки им благодарны.

Рассказывая, мой собеседник то и дело прерывал речь, как будто вглядывался в себя, в свое прошлое, затем улыбался с удовлетворенным видом.

— Итак, подробное знакомство с вашей биографией состоялось, — проговорил я, воспользовавшись одной из пауз. — Остается узнать немного: как же ваше имя?

— Мое-то? Хо-хо-хо-ов!.. — захохотал он. Но ответить не успел. В комнату — ну, будто подслушав мой вопрос! — внезапно вошла женщина, пожилая, дородная, черные косы в белом инее.

— Плов-то уже сварился, слышишь, Лаллык — с улыбкой обратилась она к хозяину. — Нести или нет?

— Неси, Оразнабат, неси, пожалуйста!

Лаллык! Вот, оказывается, что! С растерянной улыбкой я глядел на него. И хозяин дома, конечно, понял меня:

— Скажи-ка, братец, разве это подобает, едва поздоровались, так сразу тебе и выложить, мол, я Лаллыкхан. А кроме того, я ведь еще в начале сказал: ничего такого особенного Лаллык, не совершил по сравнению, допустим, с такими героями, как Аллаяр Курбанов, Оразберды Кулиев, Евгений Сухов, Курбанмамед-баба, Григорий Мелькумов, Атчапар Тахиров, Бяшим-сердар, Аннамурад-Потра... Многих я уж и забыть успел... Ну, да их часто поминают. Тех, кто жив, — награждают, приглашают на праздники. Кстати, и меня вот вызывали в Ашхабад, пришлось съездить, — он обернулся, позвал жену: — Оразнабат, принеси-ка папку, что я сегодня привез!

Внутри папки, обтянутой красно-фиолетовым шелком, на листе гладкой плотной бумаги было написано золотом:

«Товарищу Ханову Лаллыку, от имени Центрального Комитета Коммунистической партии Туркменистана, Президиума Верховного Совета и Совета Министров Туркменской ССР, — за трудовые успехи в социалистическом соревновании, в связи с 80-летием со дня рождения».

Я от души поздравил хозяина дома с высокой наградой. И сразу вспомнил вопросы, которые уже приготовил заранее. Особенно не терпелось мне узнать о делах Лаллык-хана в годы Отечественной войны.

— Когда началась война, люди Душака поднялись как один, вместе со всем советским народом. — Явно испытывая блаженство после превосходного, ароматного плова, Лаллык-ага велел жене подать чай, а сам продолжал рассказ:

— с сыном Ата, я отправился в военкомат. Однако, братец, оказалось: тылу тоже требуются люди. Ведь армию нужно было снабжать продовольствием, одеждой обувью. В военкомате мне сказали: «Сына твоего возьмем на фронт. А твоя забота — расширять посевы». Да и вернули домой.

...Воды в обрез, рабочий скот — ишаки да верблюды, бычок да захудалый коняга. Инвентарь — соха, да еще дедовский плуг. Была у нас, в районе, правда, МТС, а в ней до десятка тракторов, штук пять молотилок... Ну, а что касается автомашин, то в колхозах нашего района про них в те времена даже не слыхивали. Между тем посев следовало увеличить в два раза и урожай собрать вдвое против намеченного с весны.

И все это, братец, крепко усвоили колхозники нашего села Душак. Принялись они работать, не различая дни и ночи, не считаясь ни с голодом, ни с усталостью. Почти все, что зарабатывали, тоже отдавали фронту. Девушки и женщины с работы возвратятся, темно уже, так они зажгут светильник дымный — сами же смастерили, бутылочку из-под одеколона керосином налили, фитиль заправили — и давай вязать из шерсти варежки да носки для бойцов. Каждый помогал фронту чем мог. Ну, а у меня в хозяйстве были в то время свои овцы и козы, пять-шесть коров. Пока на границе служил,

каждый месяц шло мне жалованье. Если у кого привычка кутить да пропивать заработанное — ничего бы, конечно, не осталось. Но у меня даже в мыслях не было подобного, так что на книжке поднакопилось денег...

Посоветовался я тогда с женой, говорю: человеку хватит одной кошмы да одеяла. Продадим что найдется в доме ценного, соберем денег и отдадим для фронта. А жена и говорит: если так, то я и халатом укрываться могу, а кошму давай тоже продадим. Только бы врага одолеть, да чтоб все вернулись домой невредимыми, и наш сыночек тоже.

Собрали мы шестьдесят тысяч рублей. Повез я их в Каахка, в банк. Попросите, говорю, пусть на эти деньги построят танк. Взяли у меня деньги, выдали квитанцию... Оразнабат, ну-ка, принеси, покажи!

Седоволосая женщина протянула мне пожелтевший листок бумаги.

...Получено от Ханова Л., председателя Душакского аулсовета, из собственных сбережений 60 тыс. рублей на постройку танка, перечислено на счет № 350. Подпись. Печать.

— Танк, построенный на мои деньги, был передан в мотомеханизированный корпус генерала Рыбалко. В составе корпуса танк участвовал во многих сражениях и наконец дошел до Берлина. Вот его-то и установили там на постаменте славы. Ну, а на броне — мое имя, это верно, братец. Вспомню и как будто душой молодую... Ту помощь фронту, что я оказал, высоко оценили наша партия и правительство, — после этих слов он поднялся и показал мне сперва благодарственную телеграмму Верховного Главнокомандующего Сталина, потом ордена и медали, полученные в годы войны и позже.

— А в сорок шестом году, — продолжал он, — маршал бронетанковых войск Рыбалко пригласил меня в Москву, на праздник Дня танкиста. Товарищ Рыбалко тогда познакомил меня с руководителями нашей партии, государства. Вот, говорит, человек из Туркменистана, который в годы войны очень нам помог. А когда я собрался уезжать, он сказал: «Дарю вам легковую машину, будете ездить на ней». — Лучше бы, — говорю, — грузовую». И рассказал ему про наши колхозные заботы. Просьбу мою уважили. Возвращаюсь домой — у ворот новенькая

полуторка. Ну, я ее сейчас же отдал колхозу. Ведь нужно было поднимать хозяйство.

«Нужно было поднимать хозяйство...» До сих пор звучат у меня в сердце слова старого коммуниста. И не верится, что этот человек, столько переживший, так много сделавший для счастья и славы народа, уже перешагнул восьмой десяток. Нет, взять хоть характер, хоть речь, хоть осанку — он по-прежнему молод. Да ведь и верно: народ не дает состариться своим славным сынам. Ибо слава о них не умолкает...

ДОЧЬ СКУПОГО

Звезды уже погасли, небо начинало светлеть. Проснулись люди, и через некоторое время потянулась живая вереница из колхозников, спешащих занять свои рабочие места. Вскоре заурчали моторы, начался обычный трудовой день.

В то же самое время на окраине села проснулся и Селим-сырных, что значит Селим-скупой. Торопливо нахлобучил изрядно помятый тельпек, быстрыми движениями напялил халат, окинул взглядом сладко посапывающих во сне детей, снял с печки тунче с теплой водой и вышел во двор.

— Вай, уже день на дворе, — произнес вслух встревоженный Селим-ага и заспешил к загону с овцами. Хозяин лихорадочно начал пересчитывать их. «Одна, две... пять», — при этом он загибал пальцы на руках. Некоторое время постоял молча, пристально рассматривая скотину, затем начал ощупывать каждую овцу в отдельности.

«У кой-каких будет двойня, а тройни, видно, не принесет ни одна», — с сожалением подумал он. «Эх, не надо было мне дураку продавать годовалую, она-то обязательно меня порадовала бы тройней!»

С недовольным видом Селим-скупой обошел вокруг овчарни и заглянул к верблюдице. «Самое малое месяца через три-четыре разрешится», — повздыхал он и пошел обходить двор дальше. Затем вывел корову, привязал ее к колу во дворе и громко крикнул:

— Нурча, эй, Нурча!

Из дверей дома показалась высокая сухопарая женщина с заспанным лицом. Протирая глаза, она что-то хотела сказать мужу, но тот ее опередил:

— Где подоюник? Неси живее!

Нурча спросонья не могла быстро сообразить, некоторое время она стояла в растерянности, но грозный вид мужа заставил ее вернуться к действительности. Нурча моментально кинулась за подоюником.

Селим-ага увидел, что около их ворот остановилась легковая машина. За рулем «Москвича» сидела миловидная женщина — колхозный агроном.

Селим-ага почти подбежал к воротам и с ходу начал канючить:

— Гозель, голубушка, как я тебя ждал вчера, да и не дождался... На толкучку бы надо было съездить...

— Опять полотенца продавать, да? — нахмурившись спросила Гозель.

— Да... Да, конечно же, Гозель-джан. Вся надежда на твою машину, ведь пешком не добратся...

А дело было в следующем. Перед денежной реформой в 1961 году Селим-сырных, испугавшись, что потеряет целое состояние — «если за десять рублей будут давать только один рубль», — решил срочно все свои сбережения обратить в товар. «И при новых деньгах товар останется товаром, уж его-то я продам по старой цене», — размышлял Селим-скупой и поспешил с этими радужными мыслями в универмаг. Но тот был, к несчастью, закрыт на переучет. Селим-ага опрометью помчался к чайхане, где рядом был маленький филиал от универмага. В магазинчике торговали всякой всячиной: здесь можно было найти и столярный, и слесарный инструменты, и мыло, и гвозди, кой-какую посуду и в том числе полотенца. «Вот что никогда не потеряет своей цены», — обрадовался Селим-скупой, восторженно глядя на кипы полотенцев. «Сейчас каждый чистюля, как же обойтись без них!» И недолго думая, закупил двадцать кип полотенцев. Но Селима-скупого ожидало новое разочарование. Рухнули планы, как карточный домик. После денежной реформы эти полотенца стоили копейки, и никто в них не нуждался. При желании каждый мог купить такой же товар и в магазине. Каждый раз

возвращался Селим-ага с толкучки, не продав ни единого полотенца.

— Ладно уж, отвезу вас до центра, а там сами доберетесь до своей толкучки, я не желаю и близко подходить к этому месту. — Гозель явно неприятна была эта просьба, но она категорически не смогла ответить «нет».

— Но после, во второй половине придете на хранилище. Поможете молодежи протравливать семена хлопчатника. Да, а как настроение у моей подруги, Майсы, Селим-ага?

— Вроде бы все хорошо. Да она собирается на работу. Там и увидите.

Машина отъехала, а Селим-скупой вернулся к своей корове. Вскоре и Нурча подошла к нему с подойником. Корова проявляла беспокойство, не стояла на месте.

— Рот не разевай, и давай берись, покрепче. До отела ей еще месяца два ходить. И если сейчас бросить доить ее, так сколько убытка-то будет... Ты подумала? — наставлял Селим-ага жену, хватая корову за рога.

— Стой, стой, упрямая! — ворчала Нурча, пристраиваясь к вымени коровы. Но корова напряглась, как струна, и через секунду бросилась с места прочь, сбивая подойник. Ведро с шумом откатилось.

— Разиня! Тебе лишь рот разевать! — закричал на жену Селим-ага.

Нурча подняла ведро и направилась вновь к корове. Старалась успокоить животное, она приговаривала:

— Ну постой же, милая!

Отправляясь на работу, Майса увидела, как родители крутятся вокруг коровы.

— Мама, корова ведь уже перестала давать молоко, а вы все ее мучаете?!

— Лучше уж не поучала родителей, а помогла бы удержать эту бестию. Слышишь, Товман?

Это прозвище для Майсы было придумано Нурчой давно, когда девочка была маленькой и очень кудрявой. Раньше Майса отзывалась на это прозвище, но с возрастом попросила больше ее так не называть. Но у Нурчи частенько срывалось с языка прежнее «Товман», она нисколько не смущалась, что Майсе это не нравится.

— Мне некогда, мама, я опаздываю на работу, — тихо произнесла Майса, проглотив обидное имя Товман.

— Современные детки и знать не хотят, как достаются

денежки на хлеб, для них все без разницы, родители хоть надорвись, — ехидно вставил Селим-ага.

Нурча не проронила ни слова. Она полностью была поглощена укрощением коровы, следила за каждым движением мужа, который усердно трудился над спутыванием задних ног несчастной скотины. Нурча и Селим-ага начали поглаживать животину по бокам. На какое-то время корова успокоилась, и Нурча ухватила за вымя.

— Быстрее сдаивай молоко, — подгонял жену Скупой, и нагнулся, чтобы взглянуть на подоюник. Корова рывком бросилась в сторону Нурчи и рогами подцепила ведро с надоенным молоком, а бедная Нурча от испуга опрокинулась навзничь.

Селим-ага, опомнившись, заорал на жену во всю глотку:

— Что развалилась, вставай быстрее! Сними с рогов ведро, да не пролей надоенного!

А корова бросилась мчаться по двору с ведром на рогах и не подпускала близко хозяев. При каждом рывке коровы головой, из ведра выплескивалось молоко.

— Вай, вай, пропали мои труды! — причитала Нурча, чуть не плача. А у Селима-ага глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Он с диким воплем настиг корову и с силой двинул ей по боку.

* * *

Хлопковое поле располагалось на западной стороне леса. Майса уже направлялась к машинно-тракторной станции, как вдруг мотоциклист преградил ей дорогу.

— Здравствуй, Майса! — услышала девушка.

От неожиданности девушка не смогла сразу ответить на приветствие. Она лишь ласково смотрела на парня. Это был Азат, колхозный чабан. Майса, переведя дух, тихо произнесла:

— Это ты, Азат?

— Да, это я, — весело отозвался Азат. — А ты что же, не желаешь со мной здороваться?

— Почему же, хочу...

— Отчего же тогда молчишь? — весело спросил Азат.

Майса потупила взор от того, что парень, не таясь, разглядывал ее, и в его глазах девушка читала перепол-

нявшее его чувство восторга. Азат действительно любовался Майсой. Ему нравилось в ней все: и платье на ее ладной фигурке, и завитки надо лбом, и то, как она смущалась под его откровенным взглядом.

— Я проходил вчера мимо твоего дома, а ты так и не вышла... — прервал молчание Азат.

— Хороший фильм был по телевизору...

— А мне не до фильма было, я вашу улицу измерял вдоль и поперек.

— К чему же ты так мучался, не надо было...

— Я готов не такое стерпеть ради тебя. И все равно не раскаиваюсь, что время попусту потратил.

Майса подняла голову и внимательно взглянула на парня.

— Ты что, не веришь мне, Майса?

— Отчего же, верю...

— Ну, когда же ты мне дашь определенный ответ? А, Майса?

Майса, зардевшись от смущения, вновь опустила голову и носком туфли водила по земле. А Азат не унимался, все настойчивее спрашивал у своей возлюбленной.

— Майса, ну почему ты молчишь?

Девушке хотелось рассказать Азату без утайки о том, что он ей очень люб, и она лишь день и ночь мечтает о нем. Но не знает, как сказать своим родителям. А ей так хотелось, чтобы у них с Азатом была комсомольская свадьба! Но как объяснить Азату, что она побаивается своих родителей. И уж было собралась с духом, чтобы поделиться с Азатом своими сомнениями, как к ним подъехала Гозель на «Москвиче». Красивая молодая женщина, одетая в яркое национальное платье, окинула смутившихся влюбленных понимающим взглядом, сверкнула весело глазами и не решилась сразу обратиться к своей подруге. Лишь озорно подморгнув ей, агроном произнесла как бы между прочим:

— Майса, ты через полчаса будешь мне нужна, хорошо? Я тебя жду...

Гозель работала агрономом в колхозе недавно. Только год назад закончив сельхозинститут, Гозель была направлена в родной колхоз молодым специалистом. С Майсой Гозель подружились сразу. Подруги отличались во всем. Гозель была яркой, бойкой женщиной, с реши-

тельным характером, а Майса — мягкая, нерешительная, со скромной красотой. Но столь большие различия не мешали их дружбе.

Вспомнив одобрительное подмигивание Гозель, Майса решила открыться Азату.

Азат просиял, он готов был взмыть птицей в небо после признания Майсы.

— Но получится ли так хорошо, как ты предполагаешь?

— Если не будет так, как я предполагаю, то придумаем еще что-нибудь.

— Майса, милая, ты уж поторопись поговорить с родителями!

Девушка согласно кивнула головой. Они простились.

— Счастливого пути тебе, Азат! — Майса долго следила за удаляющимся Азатом, пока клубы дыма за мотоциклом не развеялись полностью.

Майса пошла к навесу, где хранились запчасти и мешки с семенами хлопчатника. Работа вовсю кипела. Тракторы с сеялками на прицепе тарахтели незаглушенными моторами в ожидании, пока бункеры загрузят семенами. Майса среди работающих увидела свою подружку. Гозель возилась со своей машиной. К подошедшей Майсе Гозель сразу же обратилась с вопросом:

— Ну, что, подружка, торопит Азат?

— Да, он очень рад моему согласию и ждет разговора с родителями.

— Это все хорошо, но ты уверена, что твои родители согласятся?

Майса лишь вздохнула в ответ.

Гозель не унималась:

— Если тебе, Майса, трудно самой с этим справиться, то обратись к комсомольцам. Мы тебе всегда поможем.

— Нет, нет, Гозель, я все устрою сама.

— Хорошо, хорошо, мы не вмешаемся без твоего согласия, но знай, что мы тебе всегда придем на помощь.

И они направились к сеялкам. По пути Гозель успела дать указание подруге:

— Если семена будут поступать неравномерно, то тут же останавливай трактор и вызывай механика. А я осмотрю весь участок.

Средь бескрайнего моря песчаных барханов бурлит своими водами Каракумский канал. Вдоль него разбросаны то тут, то там чабанские коши. На одном из таких кошей работал Азат. Они вдвоем с Мергеном-ага пасли огромную отару колхозных овец. Мерген-ага, с подоткнутыми полами халата и в лихо заломленном тельпеке на затылке весело насвистывая, сопровождал овец на водопой. А Азат принялся за приготовление утреннего чая. Юноша подхватил тунче и бегом пустился к каналу, наполнив сосуд с водой, он также весело, пританцовывая, начал разводить костер. Мерген-ага внимательно следил за своим напарником, и, догадываясь о ликующем состоянии Азата, пряча улыбку, спросил:

— Кажется, тебя можно поздравить с удачей?

— Как ты отгадал?

— Да ты сияешь как медный пятак на солнце, я и решил, что не проста. Ну что же ответила тебе Майса?

— Она говорит, что все расскажет о нас отцу с матерью, а после их согласия мы сыграем комсомольскую свадьбу.

— Значит, говорит, что скажет своим отцу с матерью?

— Да! Она — умница и прелесть!

— Так-то оно так, но захотят ли ее родители с тобой породниться?

— Это почему же не захотят?

Мерген-ага присел рядом с Азатом и замолчал. А Азат не сводил удивленного взгляда со своего старшего товарища. Но Мерген-ага и до чая не дотрагивался, и смотрел куда-то вдаль. Хоть и сидел он рядом с юношей, но по всему было видно, что мысли его далеко-далеко. Мергену-ага вдруг вспомнились давние времена... Шла Великая Отечественная война... Да, давно это было, но в памяти все ожило, как будто это происходило вчера, Мерген-ага начал рассказывать:

— Вот в эти суровые годы войны, когда вся страна встала на защиту отечества, Селим уклонился от призыва на фронт. Сумел каким-то образом достать справку о том, что он не пригоден к военной службе. А так как все мужчины колхоза были призваны, то Селим стал председателем колхоза. Вот тут-то он и проявил себя.

Селим чувствовал себя ханом среди оставшихся женщин с детьми и немощных старцев. Дошел до того, что стал приставать к Токге, дочери уважаемого Аннаша-ага. Девушка в отчаянии от домогательств новоиспеченного председателя, вынуждена была рассказать все своему отцу. Аннаш-ага в гневе отправился к Селиму. Но председатель колхоза не признался отцу в своих гнусных намерениях. Про себя Селим решил: «Погоди же, уважаемый Аннаш-ага, наши дорожки еще сойдутся, и ты сам приведешь ко мне свою красавицу дочь». Аннаш-ага работал в колхозе мирабом. И Селим-ага искал случая навредить Аннашу-ага. Когда мираб направил поливные воды на поле с пшеницей, Селим тайно перекрыл воду к полю и направил поток просто на дорогу. Утром же Селим собрал свидетелей и при всех начал отчитывать мираба.

— Идет война. Фронту нужен хлеб. Но когда так бессовестно люди относятся к своим обязанностям, добра не жди. Если нет воды на поле, о каком хлебе может быть речь. Это настоящее вредительство! Аннаш-ага злоумышленно направил воду не по тому руслу, ему не больно за колхозное зерно. Он — враг народа, а не просто работник, относящийся халатно к своим обязанностям. Если мы будем закрывать глаза на подобные явления, то станем соучастниками таких бесчестных людей.

Селим тут же состряпал акт на Аннаша-ага и передал дело в суд. Аксакала осудили.

Селим-ага втайне надеялся, что Аннаш-ага будет умолять председателя, согласится даже уступить свою дочь, лишь бы оказаться на свободе. Но Аннаш-ага на всех свиданиях с Селимом упорно повторял: «Ничего, подлец, найдутся люди, которые разберутся кто прав, а кто виноват! И ты за все, за все ответишь! Убирайся отсюда, и не приходи больше! Правду не скроешь! Узнают о всех твоих проделках, я твердо в это верю». И нашелся такой человек, который вывел Селима на чистую воду. После тяжелого ранения с фронта вернулся в родной колхоз Аташ, твой отец. Он быстро разобрался в подлостях Селима. Аташ стал председателем колхоза по единодушному решению народа. Но Селим и тут не захотел подумать о своих поступках. Он места не находил от ярости на Аташа. И стали они

вместе с Нурчой чернить твоего отца. Нурча написала собственноручно заявление в область на нового председателя. Мол, он, Аташ, требовал, чтобы она с ним сожительствовала, но что, мол, она честная женщина не желает молчать о таком бесстыдном поведении председателя. А Селим ходил из дома в дом, жалуясь на Аташа, который позорит, якобы, и его, и что он, мол, не знает, как ему жить дальше, раз председатель колхоза на такое способен. Но односельчане не верили Селиму и Нурче, а постарались восстановить правду. За клевету на председателя Селима посадили в тюрьму, так как Нурча призналась, что писала заявление под диктовку мужа.

Азат слушал Мергена-ага, затаив дыхание. Закончив свое печальное повествование, Мерген-ага взглянул на Азата.

Но парень, с присущей юности горячностью, вдруг воскликнул:

— Ну, а какое отношение это имеет ко мне? Ведь это было так давно! Я-то ни в чем не виноват!

— Ты прав, сынок, что не имеешь к этому никакого отношения. Ты даже уже не помнишь своих родителей. Бедные, они умерли от тифа такими молодыми! Им бы жить да жить и на тебя радоваться... Но Селим-сырных-то жив, и все помнит, все... Не отдаст он тебе свою дочь в жены, нет, не отдаст.... Да и твоя Майса слишком послушная дочь, чтобы идти против отца. Да и Нурча, хоть и мачеха Майсе, а тоже вмешается, побоится продешевить свою падчерицу. Ей разве до ваших чувств! Она с Селимом — два сапога пара. Хоть и не совсем это хорошо, но ты, Азат, уведи тайком Майсу из дома, ведь вы любите друг друга. Объясни все Майсе, она поймет.

— Нет, Мерген-ага, нехорошо тайком уводить девушку.

— Конечно, дорогой, совсем плохо, но что же вам другое-то придумать? Не отдадут тебе Майсу. Но все же это лучше, чем родители продадут ее на бешеные деньги нелюбимому. Я так понимаю...

— Может, вы и правы, Мерген-ага, но Майса не решится на это. Я верю, что она ни за что не допустит, чтобы ее продали за нелюбимого.

Мерген-ага неопределенно покачал головой.

— Может ты и прав, сынок, но время покажет. А пока сыграй что-нибудь на туйдуке.

И полилась над волнами канала и бескрайними песками красивая нежная мелодия «Красавица» («Овадан гелин»).

* * *

Смеркалось. Солнце уходило за горизонт. Колхозники возвращались в село. Весело переговариваясь, подтрунивая друг над другом, отдельной стайкой шли девушки, среди них возвращалась домой и Майса. Гозель по обыкновению уезжала с поля позже всех, и теперь медленно ведя свой «Москвич», поравнялась со стайкой девушек. У Гозель каждый раз при взгляде на подругу поднималась в душе волна нежности. Она знала, что Майсе не сладко живется в родном доме. Теперь же, когда подруги стали доверять друг другу девичьи секреты, Гозель с особым чувством относилась к Майсе. Молодой женщине хотелось заменить девушке сестру. Гозель понимала, как не хватало всю жизнь подруге материнской ласки. «Лишь бы удалось ей устроить свое счастье с Азатом. Азат хороший парень и видно, что очень любит Майсу, — подумала Гозель и улыбнулась, вспомнив, как Майса, покрасневшись заявила: — И у меня будет комсомольская свадьба, как и у тебя!»

Гозель окликнула Майсу, приглашая сесть к ней в машину. Девушка охотно согласилась. Частенько подруги катались, а в безлюдных местах Гозель доверяла руль Майсе. Шутя, шутя, но Майса овладела управлением «Москвича».

Сегодня привезли в клуб «Решающий шаг», пойдем посмотрим? — предложила Гозель.

— Правда? Я так давно хотела посмотреть этот фильм! Но не знаю, что скажут дома...

— Что, тебя могут не пустить в кино?

— Нет. Не потому... Может какие-нибудь домашние дела нужно будет сделать. Я еще не знаю... — неопределенно ответила Майса.

— Тебя прямо к дому подвезти? Или ты не хочешь, чтобы тебя видели родители на машине?

— Да, я лучше здесь выйду.

Майса медленно побрела к дому. Девушке вспомнилась свадьба Гозель. Как весело было на этой свадьбе. Все приветствовали молодоженов, желали счастья, дарили подарки. «Вот бы и нам с Азатом устроить такую же свадьбу!» Она представила себе, как она сидит в свадебном наряде, рядом Азат, а подле них ее родители. С этими радужными мыслями Майса переступила порог. Дома была только мать, которая сидела за чаем.

Увидев улыбающуюся Майсу, Нурча спросила:

— Что это с тобой, Товман?

— Мама... — начала было Майса, не обидевшись на нелюбимое имя, но запнулась.

— Ну, что замолчала, поперхнулась что ли?

— Мама, а ругать не будешь?

— Ну говори же, что случилось?

— Да ничего не случилось, не волнуйся, пожалуйста, просто...

— Ну... — нетерпеливо перебивала падчерицу Нурча.

— Я... — вновь запнулась Майса, заливаясь пунцовой краской от смущения.

— Что, хочешь шофером стать? Забыла мои затрешины за то, что раскатываешь с этой агрономшей, ведьмой с бесстыжими глазами.

— Да не о том, мама! Выслушай!

Селим-ага, подходя к дому, услышал громкий голос жены и приостановился, чтобы подслушать о чем идет спор.

— В кино что ли собралась? И потому мычишь, как корова?

— И в кино хочу сходить, если отпустишь, конечно...

— Майса по-прежнему мялась, не зная, как сказать Нурче о главном. Она постоянно боялась мачехи. Втайне Майса очень верила, что мачеха поймет ее. Так девушке хотелось хоть немного счастья, что она, забыв обо всех обидах, пыталась себя уверить, что не так уж скверны ее родители. И Майса, собравшись наконец духом, решилась произнести:

— Мама, я одного парня... полюбила...

Нурча остолбенела, но взяла себя в руки.

— И кто же он, этот счастливец? — не без ехидства спросила Нурча.

— Азат...

— Это какой такой Азат?

— Чабан, мама...

Нурча вскочила как ошпаренная и завопила:

— Вай! Вай! Что я слышу! Проклятый Азат! Да знаешь ли ты, дура, что его отец лютейший наш враг? Ох, угодила, доченька! О аллах, за что ты посылаешь нам такую кару?

Майса попыталась было вставить слово:

— Мама, успокойся!

— Заткнись! Несчастливая! — рухнув на ковер и стуча кулаками по полу, взревела Нурча.

— Мамочка, — кинулась было к ней Майса.

— Замолчи! Отыскала нищего сироту, у которого и крыши-то своей над головой нет! Да еще сына врага заклятого... О аллах!

— Мне никто другой не нужен, мама, так и знай! — вдруг решительно заявила Майса, преодолев страх перед мачехой. — И комсомольскую свадьбу хочу. Другие родители давно идут навстречу своим детям, лишь бы те были счастливы, а вы с отцом...

— Что? И ты мечтаешь о такой бесстыдной свадьбе? Как все распутницы?

— Почему же распутницы?

— Заткнись сейчас же! Нет, люди, полюбуйтесь на эту нахалку!

— Я не нахалка, мама! За что вы меня так позорите? — со слезами воскликнула Майса.

— Прекрати сейчас же со мной пререкаться, дрянь!

— Не прекращу! — запальчиво выкрикнула Майса.

От изумления Нурча уставилась на падчерицу, но заметив, что Майса настроена решительно и не собирается отступить от своих слов, вдруг замолчала. В голове Нурчи метались вихрем мысли. «Кто ее так настроил? Никогда не позволяла эта негодница перечить, а здесь словно с цепи сорвалась». И Нурча пошла на хитрость.

— Эй, что это я так распалилась! Совсем голову потеряла. Ладно, хватит ссориться. Лучше поешь что-нибудь.

Теперь растерялась Майса, заметив крутую перемену в настроении мачехи. И от того, что до сих пор никогда не дерзившая, она так горячо спорила с Нурчой, силы покинули девушку, и она разрыдалась.

Нурча, едва пересиливая себя, подошла к ней и принялась успокаивать, про себя думая: «Так и задушила бы эту змею», а вслух произнесла:

— Ты ведь уже взрослая, а ревешь как маленькая!

— Я знаю, вы против Азата, потому что прекрасно понимаете, что не получите калыма за меня... — всхлипывая, продолжала возбужденная Майса.

— Да, конечно, это главное! — не сдержавшись начала кричать Нурча. — У него и приличной рубахи-то нет! Голодранец!

Нурча специально находила самые обидные слова, хотя и знала, что не все в ее брани было правдой. Азат одевался не хуже всех парней, может даже и лучше. Работал он добросовестно, и деньги у чабана были.

— Если у него ничего нет, мне и не надо. Не в вещах и деньгах счастье! — не унималась Майса. Утирая слезы, девушка четко и раздельно проговорила:

— И запомни, мама, мне ничего не нужно, лишь бы любимый был рядом. А заработать на все необходимое мы сможем с Азатом сами. Действительно, Майса хорошо зарабатывала и приобрела уже немало для себя вещей. Нурча же не собиралась ничего возвращать падчерице, и рассчитывала на большой калым за нее. Однако об этом она никогда не говорила Майсе. Мачеха хотела придумать убедительный довод, чтобы доказать падчерице, как необходимы дополнительные деньги семье. Но придумать не могла. Сослаться на братьев, которых нужно женить, это было бы не убедительно, так как они были еще малы. Нурче ничего не оставалось, как только примирительно пока сказать:

— Ладно, как говорится, с бедного и взять-то нечего. Выдадим тебя за этого голодранца. Но учти, глупая, подруги и те смеяться над тобой будут.

— Значит, они плохие подруги, если посмеются, — тут же услышала Нурча ответ дочери. — Мне всегда было неприятно, что глупые девчонки требуют за себя деньги. Я считаю мерзостью одевать роскошные наряды за счет родственников мужа.

Нурча смолчала, но это стоило ей большого труда. Она отчетливо представляла, как уплывают деньги из ее рук. Мачеха затаилась, не хотела раскрывать до конца свои коварные планы. Для себя она решила во что бы то ни стало, но перехитрить дрянную девчонку. «Ничего,

я свое не упущу, дождусь случая, расквитаюсь за все твои дерзости, Товман», — злобно размышляла Нурча.

В этот момент Селим-ага вошел в комнату. Он сделал вид, что не слышал всего разговора и изобразил на лице удивление. Майса и Нурча сидели нахмуренные, а глаза дочери до сих пор были влажны от слез. Жена хотела было что-то сказать, но Селим-ага опередил ее.

— Что за слезы? Майса, в чем дело? Что случилось? Нурча попыталась схитрить:

— Да, ничего. Майса в кино вот собралась.

— Собралась, так пусть идет, из-за этого разве плачут?

— Это еще не все. Эта несчастная... — мачеха указала на Майсу.

А дочь вихрем бросилась к отцу, обняла за шею и торопливо, сбивчиво начала приговаривать:

— Папочка, любимый, единственный мой...

Но Нурча была начеку и перекрывая голос дочери, начала свое обвинение.

— Лелеяли ее, холили, а вырастили неблагодарную, ты только послушай, отец, что у нее в голове! Размечталась о голоштаннике Азате! О аллах!

Селим-ага все прекрасно слышал под дверью, и уже был готов к этому разговору, поэтому спокойно сказал:

— Перестань, дочка, успокойся. Пока я жив, ты можешь поступать как тебе вздумается, никто не станет перечить моей взрослой девочке.

— Правда, папа?

— Только, дочка, постарайся пока помолчать о своей сокровенной мечте. Не надо преждевременной огласки. Надо все как следует продумать. Считай, что я тебя предупредил. Если узнаю, что заранее проболталась, то пеняй на себя.

— Хорошо, папа. Будь спокоен.

— Ну, а теперь беги в свой клуб. Но помни о том, что я сказал, поняла?

— Поняла, конечно, поняла! Спасибо тебе!

Селим-ага посмотрел вслед дочери, которая, не подозревая коварства, помчалась в кино. Муж гневно посмотрел на Нурчу, а та так и взвилась пружиной.

— Что на меня уставился? Я ли учу ее этому? Нет в этом моей вины, все влияние агрономши и ей подобных!

— Да, видно, доченька хочет разорить мое хозяйство. Как ты думаешь, даст этот бродяга хоть что-нибудь за Майсу?

— Откуда я знаю. Спроси лучше об этом у своей доченьки.

— На то ты и женщина, выведай у нее. Она ведь — простая душа. Чуть поласковой с ней обойдись, так и все расскажет.

С того дня Нурча старалась завоевать расположение падчерицы. Каждый раз мачеха переводила разговор в нужное ей русло.

— Доченька, ты скажи Азату, чтобы он, если хочет жениться, то пусть даст такой же калым, как это положено.

Майса не грубила мачехе, но постоянно твердила свое:

— Мама, я не могу ему сказать об этом. Он ведь сирота, как ему собрать такие деньги! Тем более, что я сама против этого.

У Нурчи от злости на Майсу свет мерк в глазах, но она притворно делала вид, что понемногу мирится с этим обстоятельством.

— Ладно уж, так и быть, справим все необходимое и по осени сыграем свадьбу вашу. Но только пока держи язык за зубами. Никому ни слова, помни, что отец тебе наказывал!

Девушка верила и молчала.

* * *

Селим-скупой потерял покой и сон, узнав о выборе дочери. Все мысли его были денно и ночью заняты одним, как бы обвести вокруг пальца дочь. Он строил всякие планы, но ничего конкретного придумать не мог. Но однажды он сорвался и набросился с упреками на Нурчу.

— Чего тебе не хватало? Зачем отвадила Тувак-эдже! Чем она тебе не угодила? Пока не поздно, дай ей знать, что мы согласны отдать Майсу за ее сына. И поторапливайся!

Тувак-эдже жила в соседнем колхозе. По совету соседей выбор невесты для сына выпал на Майсу. Девуш-

ку расхваливали те, кто ближе знал семью Селим-сырных. Говорили о ее скромности, об умелых руках Майсы, о покладистом характере. Тувак-эдже пошла сама сватать невесту. Нурча встретила Тувак-эдже холодно. Начала без обиняков перечислять, что должен принести жених за невесту: десять тысяч деньгами, сто халатов, десять овец, два мешка муки, мебель, телевизор... Тувак-эдже не думала, что таковы будут условия, у нее не было и трети перечисленного, и она уехала разочарованной, расстроенной.

— Ты же знаешь, что она сама отказалась! Ох она и жадина же! А еще свататься приехала, — возразила жена Селиму.

— Ничего. Немного сбавь цену, и она согласится.

— Значит, я должна поехать и сказать ей об этом?

— Поедешь и скажешь! Ничего с тобой не случится. Подумаешь, застеснялась, как бесстыжая девка козьего хвоста! Не будь бестолковой. Пока я жив, не выйдет Майса за этого бродягу Азата.

Нурча фыркнула и передернула плечами.

— Не пойду я сама предлагать свою дочь!

— Тогда прочь из моего дома, баба! Не показывайся мне на глаза, пока не сделаешь, как я сказал, — заорал Селим и, схватив щипцы для угля, замахнулся на жену.

Нурча увернулась от удара и выбежала из комнаты. Селим-сырных, оставшись один, уселся поудобнее и начал мечтать. Он представил, как пересчитывает деньги Тувак-эдже, принесенные за Майсу, и мысленно ощупывал ткани, сложенные стопой, которые входили в стоимость калыма... Но вдруг картина в воображении сменилась, и Селим-ага увидел, как наяву, что Азат увозит Майсу на своем мотоцикле... Селим-сырных даже застонал от досады.

Нурча потихонечку вошла в комнату и как ни в чем не бывало спросила у мужа елейным голосом:

— Завтра соседи режут бычка, может нам купить у них свежего мяса, а? Давно у нас ничего мясного не варилось...

Селим-сырных облизал губы, представив свежее пожаренное мясо, но жадность поборол искушение. Он схватил кипу полотенцев с сундука и поднес к лицу жены.

— Заговорила о мясе! Мяса она захотела... Вот где все денежки, в этих проклятых полотенцах! А теперь еще эта дура собралась бесплатно замуж. Ох, разорюсь я вконец! — захлебывался в гневе и отчаянии Селим. Чтобы немного успокоиться он вышел на улицу. Но и приятная вечерняя прохлада не радовала Скупого, с тяжелым чувством он вернулся в дом.

Утром, когда Майса уже ушла в поле, Нурча, заварив чай, отправилась во двор кормить скотину, но вскоре встревоженная вернулась в дом.

— Сын твоей сестры пожаловал. Несет его нелегкая! Опять, наверное, за деньгами идет, попрошайка. Ни стыда, ни совести у людей. Не принесут подарка, хоть самого захудалого, а только кланчить норовят.

Селим-сырных даже чаем поперхнулся.

— Интересно, зачем явился? Еле-еле от них дождались, чтоб вернули долг... Опять прутся...

У Селима было три сестры, но сам он никогда ни одну из них не навещал. Сестры были намного добрей брата и время от времени посылали детей к брату узнать о здоровье или сообщали о предстоящем празднике. Только раз одна из сестер попросила сто рублей в долг у Селима, так как понравился материал на платье, а денег с собой не было. Но брату с тех пор казалось, что все только и ждут от него денег. Вот и сейчас муж с женой были раздражены неожиданным визитом племянника.

Не успел мальчик переступить порога, как Селим-ага недовольно проворчал:

— Зачем явился?

— Салам, дядя! — робко приветствовал племянник. — Меня мама послала пригласить вас с тетей к себе... В воскресенье мама хочет устроить той в честь моего дня рождения...

Произнеся все это, мальчик тут же круто повернулся, собираясь уйти: ему было не по себе от такого приема.

— Куда ты, выпей чаю, — выдавил из себя Селим-сырных.

— Ему в школу, наверное, надо, — встряла Нурча. — Ах, какой умный племянничек, не забыл, приехал к тете с дядей... пригласил, — сладким голосом произнесла Нурча. — Подожди, я тебя хоть чем-нибудь угощу.

Нурча прошла в кладовую, взяла кусок прошлогодней сушеной дыни и протянула мальчику.

— На, положи куда-нибудь, уж не сетуй, чем богаты...

Племянник попятился от нее и начал отказываться:

— Спасибо, тетя, но я не люблю дыню. До свиданья...

— Ишь, гордый какой! Дыню он, видите ли, не ест, а что вы вообще-то хорошего ели за свою жизнь, гольмоль... — пробурчала вслед удаляющемуся племяннику тетка.

— Что, уже ушел? А я хотел его было спросить, не купит ли у них кто полотенца, — со вздохом произнес Селим-ага и принялся вновь за прерванное чаепитие.

* * *

У Тувак-эдже Батыр был единственным сыном. Воспитывала его она одна, рано овдовев. Батыр успел закончить ветеринарный техникум и теперь работал в колхозе ветврачом. Юноша мечтал продолжить образование, но видел, что матери трудно живется и оставил мысль об учебе дальше. Мать мечтала, чтобы поскорее женить сына, привести в дом молодую хозяйку. Как-то раз она завела разговор с сыном о женитьбе и, к ее удивлению, Батыр не стал возражать против. У него не было на примете никакой девушки, и он полностью положился на выбор матери. Правда, при этом он попросил об одном, чтобы до свадьбы мать предоставила возможность взглянуть на будущую жену.

После неудачного сватовства в семье Селима-скупого, Тувак-эдже пыталась счастье в других домах, но в ответ слышала лишь отговорки: то дочь пока учится, то у дочери есть на примете жених. Не раз вздыхала Тувак-эдже, вспоминая Майсу. Очень уж ей хотелось такую скромную невестку ввести в свой дом. «Запросила бы Нурча поменьше, я бы с удовольствием приняла их предложение. Может все-таки попытаться еще раз поговорить с Нурчой. Глядишь, и поладим... Не стоит засиживаться мне дома, поеду-ка к Селиму-скупому. Была ни была!» — решила Тувак-эдже и отправилась в путь.

— Видно, судьба моя такая — породниться с вами, — начала с порога Тувак-эдже сразу же после обоюдного приветствия. Родители Майсы на сей раз были куда при-

ветливее прежнего, хотя явной радости своей не выдавали.

— Ну, что ж, сватья дорогие, как решим? Вы твердо стоите на своем или малость уступите вдове?

— Мы лишнего и не просили, но наша дочь не хуже других, — начала Нурча, но вскоре замолчала.

— И то правда, Тувак-эдже, что лишнего мы не попросим, — не удержался и Селим-скупой.

Тувак-эдже помнила о том, что во многих домах она не находила нужного ответа, но все же решила попросить сбавить сумму калыма.

— Ладно, не корову же продаем, а дочь свою, немного скосим, — пробормотала через силу Нурча.

— Ну вот и хорошо! Вот и хорошо!

Женщины долго еще сидели и договаривались, а Селим-ага, хоть и сидел рядом, но не вмешивался в их переговоры. Говоря о свадебных делах, Тувак-эдже высказалась совершенно неожиданно для супругов:

— Сейчас чаще всего молодые девушки заводят себе женихов без ведома родителей, видите ли, у них это называется любовью... Тьфу! Тьфу! Упаси господи от такой напасти.

Родители Майсы насторожились. Неужели Тувак-эдже что-то узнала об Азате. Селима аж в пот бросило.

— Это-то так, Тувак-джан, но моя дочь себе не позволит подобного. Если б она посмела бы на такое решиться, я б ее собственными руками в землю живую закопал, — хрипло проговорил Селим.

— Вий, Селим-джан, не горячись, не расстраивайся, я просто к слову так сказала, а ведь о вашей Майсе и полслова не было сказано. Я-то знаю, что вы строгие родители. Лучше давайте поговорим о дне свадьбы.

— Когда принесешь вещи в дом невесты, тогда и день сообщим, — с достоинством ответила Нурча.

— Ну, хорошо. Пусть будет по-вашему. А мне пора в обратный путь собираться. Да, я еще хотела вас об одном попросить... Батыр-джан хотел до свадьбы увидеть Майсу, да и она б на него взглянула... Вы не против?

— Если б мы были совсем отсталые, то отказали бы, а мы с женой не из таких. Пусть приходит, посмотрит. Но чтобы без всяких там... разговоров каких-нибудь легкомысленных. Так и сыну передай.

— Уж будь спокоен, Селим-ага. Мой сын не из нахалов, а настоящий порядочный молодой человек.

Гостя ушла. В доме воцарилась тишина, казалось, что гнетущая сумрачность поселилась здесь навечно.

— Что теперь делать, Селим?

— Об этом надо подумать. Но за день до того, как приедут за Майсой, ты привези свою сестру Гульджу.

Стоял разгар весны. Песчаные холмы и низины усыпаны цветами. Зеленеют астрагалы, алеют маки и тюльпаны.

Азат с Мергеном-ага расположились на пригорке, греясь под весенними лучами солнца. Каждый житель Туркмении прекрасно знает и ценит этот период года. Солнце ласковое, а не жгучее, буйное цветение и необыкновенный аромат разнотравья — все это представляет необыкновенную прелесть.

Чабаны вели непринужденную беседу о том, о сем. Азата постоянно преследовал образ Майсы, и он с удовольствием переводил любую тему разговора на свой предмет обожания. Вот и сегодня молодому человеку захотелось поговорить хотя бы косвенно, но о ней.

— Мерген-ага, ты мне многое уже поведал о Селимском и его жене, но мне хочется еще больше их понять и узнать. Вспомни еще что-нибудь.

— Ну я же тебе рассказал, как он навластовался вдоволь во время войны. Сам он не любил гостей, но зато с удовольствием ходил по гостям. В тот же самый год он взял в жены Нурчу. Его первая жена умерла при родах. Майса-сиротка росла уже без матери. А Нурча оказалась под стать своему мужу. Сварливая и жадная она никому из сельчан не пришлась по душе. Да и хозяйка она была неважная. Хоть и складывала деньги, а за мужем как следует не присматривала. Селиму рот затыкала, что пришла уже на готовое дитя. А Селим, когда был председателем, нахально заходил в дома колхозников и требовал вкусных блюд, не считаясь с тем, что это сверх нахальства. А Нурча из тех женщин, что посят яшмак не оттого, что чтут старину и обычаи, а от великого плутовства. Хоть рот ее прикрыт, а язык у

нее ох и вольный, колкий. Да может и зря я тебе так откровенно говорю, все же это твоя будущая родня.

— Мерген-ага, что ты?! Я же сам попросил рассказать о них подробнее, мне все интересно. Но оказывается, что они очень непорядочные...

— Ты, Азат-джан, поторапливай Майсу, чтоб быстрее решалась выходить замуж за тебя. Я не верю этим людям, не отдадут они бесплатно дочку. Ну да ладно, пошли, Азат-джан, к нашим овцам, их пора напоить.

«Где сейчас моя Майса, чем занимается? Думает ли обо мне?» — вертелось в голове у юноши.

* * *

— Эй, ребята, где здесь дом Селима-ага?

— Какого? Они на каком участке живут?

— Дядя, покатай!

— Прокати!

— Вот кто первым мне покажет дом, который я ищу, того и прокачу.

Ребятишки наперебой начали галдеть.

— У них «Волга» есть?

— Это может Герой труда? Тракторист?

— А у него дети есть, как их зовут?

Батыр поначалу растерялся от множества вопросов, но потом заговорщически прошептал:

— У Селима-ага есть взрослая дочка — Майса.

— Это Селим-скупой!

— Да, это он!

— Ее мать еще называет Товман!

— Да потише вы, сороки! — попытался утихомирить детей Батыр.

Мальчик постарше всех вызвался показать дом Селима-ага. Мотоцикл он оставил на хранение детишкам. Когда они подошли, Майса выходила из дома. Батыр сразу догадался, что это и есть Майса. «Так вот кого расхваливала мать! Да, не зря! Ладная девушка. А если одеть ее в самое красивое платье — так глаз не оторвать. Даже и такое простенькое платье, и то к лицу».

Во дворе появилась Нурча и пристально начала рассматривать незнакомца.

— Тебе, парень, кого? — окликнула Батыра Нурча.

— Да, я ищу дом Солтан-эдже...

Нурча не знала такой в их селе, и у нее мелькнула догадка, что парень и есть сын Тувак-эдже. «Ах, как жаль, что Майса уже успела отойти на приличное расстояние. А то они бы увиделись. А может окликнуть Майсу?» — раздумывала Нурча, а Майса уходила все дальше. «Ну хоть я его увидела и то ладно, и все-таки это Батыр. Видно, что ничего придумать не смог, вот и ляпнул про дом Солтан-эдже!»

Батыр в сопровождении мальчика вернулся к мотоциклу, сдержал обещанное, покатал всех по очереди, и с удовольствием думал о Майсе.

* * *

Сев хлопчатника подходил к завершению. Но некоторые карты поля еще не были удобрены, и колхозники занимались этой работой. Гозель подошла к Майсе во время обеденного перерыва.

— Как твои дела? Набралась храбрости, поговорила с родителями?

— Поговорила. Пока все хорошо.

— Молодец, что поговорила. Я за тебя рада, очень, ты даже не представляешь себе! Вот уж я потанцую на твоей свадьбе!

— Ой, Гозель, потише, не кричи, а то все услышат.

— Почему тише? Об этом надо и Азату сказать. Завтра, кстати, к ним собирается заведующий фермой. Так что пусть он и порадует твоего Азата.

Майса замотала головой и предостерегающе подняла руки, чтобы остановить подругу:

— Нет, нет! Никому пока ни слова... Меня очень просил об этом отец. Лучше я напишу письмо сама Азату, а ты поможешь мне отправить его, ладно. Гозель?

— О чем разговор, милая! Конечно помогу. Если даже не сможем увидаться, то вечером заеду к вам, а ты тихонечко мне его передашь.

— А не забудешь?

— Ну что ты, разве ты меня так плохо знаешь? А? — рассмеялась Гозель. — Знаешь, я подумала, раз ты не хочешь в техникуме учиться, а тяга к технике у тебя налицо, то может поедешь на курсы механизаторов?

— Ой, а это можно? Я так хочу сама водить комбайн!

— Вот видишь, как все хорошо складывается? А ты мешкала, сама себя только мучала. Ясно, что против такого доброго дела родители не станут возражать. Не те уж времена. Ну, так я тогда пойду, мне надо еще успеть в другую бригаду. Пока, Майса!

Гозель ушла, а Майса дала волю воображению. Под впечатлением беседы с подругой ей грезились самые радужные видения. Она представляла себя в фате, и даже представила Гозель радостно танцующую, веселую и нарядную.

* * *

Придя с работы, Майса увидела, что у них сидит гостья — сестра матери, тетя Гульджа. Девушка и не подозревала, что все в доме были в сговоре против ее свадьбы с Азатом.

Тетя была очень похожа на мачеху, тот же взгляд, из-под бровей, недовольная усмешка, только совсем не заботящаяся о своей приглядности. На ней платье было чересчур старое, а на голове платок непонятной расцветки, из-за ветхости. Хотя тетя Гульджа была немногим постарше мачехи, а выглядела сущей старухой.

— Что за год выдался, еще не лето, а жара и духота, как в июле, — постирая пот со лба, ворчала гостья. — А Селим твой, Нурча, настоящий хозяин, что нельзя сказать о моем беспутном. Вон сколько у вас корма припасено для скотины! А наша совсем дошла до недоедания. Тьфу! Ты поговори, сестра, может Селим нам уступит немножко?.. — жалобно попросила Гульджа.

Этот разговор был затеян тоже не случайно. При Майсе нужно было говорить о другом. Хотя сестры уже успели посудачить вдосталь, как им окрутить упрямую Майсу, но ждали момента продолжить свой разговор.

После ужина Нурча придумала для дочери занятие во дворе: почистить у коровы стойло. Майса послушно принялась за работу, ей это было привычно.

Не успела Майса выйти из дому, как сестры вновь зашушукались.

— Ой, боюсь, сестрица, как бы не подняла шума наша просватанная... — начала Нурча.

— Что ты так тревожишься? Не посмеет.

— Уж очень она, видно, любит этого заклятого Азата, чтоб ему пусто было!

— Ай, не верь ты этим глупостям. Какая там любовь? Выдумка все это. Посмотришь, через неделю уже забудет о своем Азате, будет тенью ходить возле Батыра.

— Хоть бы было так, как ты говоришь, — все еще сомневаясь Нурча.

— Что там говорить и далеко ходить за примером. Ты или я по любви вышли что ли? А ничего, живем и не хуже чем другие.

Майса управилась с порученным, и сестры быстро перевели разговор на другую тему.

— Так, значит, Гульджа, ты говоришь, что в следующее воскресенье дочь выдаешь замуж? А как Джерен-джан не противится против твоего выбора?

— Зачем ей быть против? Она сама его отыскала, — не моргнув, солгала тетка. — Вот я за Майсой приехала, чтоб помогла ваша умелица приготовить свадебное платье моей доченьке. Как, Майса-джан, ты не против помочь сестре? — притворно обратилась Гульджа к племяннице.

— Ой, что вы, тетя! Я с удовольствием!

— Вот и наша нашла себе одного, — вставила тут же Нурча.

— Ну и чем же ты недовольна, сестра? Это же хорошо! — взглянув на Майсу, проговорила Гульджа.

— Когда же свадьба у тебя, племянница?

Майса молчала, лишь легкий румянец проступил на щеках.

— Ответь тете, бесстыжая!

— Ты, Нурча, не обижай напрасно ее. Устрой свадьбу как положено, это же хорошо, что они любят друг друга.

Мачеха, опомнившись, приняла игру сестры и серьезно, будто дело уже давно решенное, сказала:

— Если будет послушной, не будет заставлять повторять все дважды, то свадьбу осенью сыграем.

— Разве я давала повод, чтоб обо мне ты так говорила, мама?

— А ты и не давай повода, племянница. Нет ничего позорнее, чем перечить родителям, Майса-джан.

— Это я знаю, тетя, и стараюсь ни в чем не отказываю, но мама постоянно находит случай меня упрекнуть.

Вошедший Селим-ага, услышав последнюю фразу дочери, обратился к жене:

— Опять ты ее обижаешь понапрасну?

— Если верблюдица любит своего верблюжонка, то и лягнет, и куснет, да все для пользы, как говорится, — не сдержалась Нурча.

— Ладно, если так, а зря будешь придирааться, не потерплю, не дам дочь в обиду.

— Ладно, оставим этот разговор. Иди, Товман, приготовься к завтрашнему дню, ведь тебе с тетей прямо завтра нужно будет ехать.

— Я только с утра сбегаю к бригадиру, отпрошусь, а потом буду собираться с вами, тетя.

Селим-ага поспешно заверил дочь:

— Я сам предупрежу бригадира, не беспокойся.

— Ну тогда ладно.

Хотя Майса и сказала «хорошо», а сама была неспокойна, так как ей нужно было Гозель передать для Азата письмо. «Как теперь быть? А, что-нибудь утром придумаю!» — подумала Майса и села писать письмо любимому.

Утром ей не удалось увидеть подругу. Гозель она не встретила, хотя все-таки сумела выбраться под предлогом из дома. «Ладно, до свадьбы сестры осталось четыре дня. В воскресенье, когда буду уже свободна от дел, вернусь домой, тогда и передам письмо Азату», — утешала себя Майса.

Дома уже мать и тетка переполошились из-за того, что Майса задерживается где-то.

На Майсу, стоило ей появиться во дворе, сестры обрушились разом:

— Где ты пропадаешь? Ведь надо себя привести в порядок, время идет, вот-вот приедет машина за вами.

Нурча волновалась боясь, что падчерица в любую минуту может догадаться об их плане. Как говорится, на воре шапка горит, а Майса нервничала тоже. Ей было отчего-то неспокойно, хотя она без конца ловила себя на мысли, что повода для беспокойства вроде бы и нет.

— Мама, а ты с нами не поедешь? Я только одна поеду на свадьбу? — вдруг спросила Майса.

За жену ответил Селим-ага:

— Ведь кто-то должен остаться в доме, как же вдвоем уедете, а хозяйство, а ребятишки?

— Да, это верно, папа.

Ежедневно пересчитывая деньги, полученные от Тувак-эдже за Майсу, Нурча как-то обратилась к мужу:

— Все своих девок-невест обувают в белые туфли, давай и мы разоримся на такую покупку.

— Чем новые калоши не обувь? Раньше ни о чем другом и не мечтали... — пробормотал недовольно Селим-скупой.

Но все-таки уступил и купил туфли.

Когда Майса одела праздничное платье, отец торжественно подал в коробке новые туфли дочери.

— Это мне, папа? Ой, какие красивые! Но я еду всего лишь помогать, я же не невеста?!

— Ничего, дочка, пусть видят все, что у моей дочери тоже все есть, чем ты хуже других, — слукавил Селим-ага.

Как мало нужно юным! Такой пустяк, как белые красивые туфли, Майсе так понравились, что все ее тревоги и сомнения были отменены в сторону.

А тетя Гульджа, покопавшись в своей дорожной торбе, достала новенький шерстяной платок и протянула уже племяннице, как Нурча с жадностью его схватила.

— Это еще зачем? Хватит ей нарядного платья с новыми туфлями, — не сумела скрыть своего скупидомства мачеха.

— Ты что, сестрица, это же подарок от жениха моей дочери для Майсы! — попыталась урезонить Нурчу Гульджа.

Мачеха недовольно выпустила из рук платок. Тетка тут же накинула его на голову Майсе, проговорила восхищенно:

— Хороша! Ну чем не невеста!

Вскоре подъехала к дому «Волга». Тетка встрепенулась, подбежала к калитке. Сладко улыбаясь, она что-то говорила шоферу и двум сидящим в машине женщинам. Майсе не было слышно ни слова. Она с любопытством разглядывала шофера. Он ей очень не понравился. Пожилой мужчина без конца закидывал под язык зеленый порошок, — нас, обнажая при этом гнилые зубы, щурил свои глазки-буравчики. Да и женщины в машине

сидели какие-то нахохлившиеся. «С такими спутницами невеселыми придется ехать мне, но ничего», — промелькнуло в голове девушки. «Зато письмо я взяла с собой, покажу его Джерен, все-все расскажу ей об Азате. Она меня поймет, потому что тоже счастливая. Даже больше чем я, у нее уже свадьба будет в воскресенье.»

Гульджа тем временем стала прощаться с Нурчой и Селимом. Взяв за руку Майсу, подвела к машине, усадила девушку между женщинами, а сама села рядом с шофером.

— Ну, уселись, красавицы? — спросил шофер. — Можно ехать?

— Трогай! — ответила Гульджа.

По дороге никто меж собой не разговаривал. Солнце потихоньку клонилось к закату. Но было еще душно-вато. Майсу смущало молчание спутниц, она вновь начала ощущать смутное чувство тревоги. «Может это от того, что женщины ни проронили ни слова?» — подумала Майса. От нечего делать, Майса, склонив голову, ушла полностью в свой мир счастливых грез, и задремала.

Гульджа, заметив, что племянница задумалась, молча потихонечку ткнула в бок шофера. Тот сразу все понял, замедлил ход и открыл дверцу машины. Тенью выскользнула Гульджа в темноту.

Очнувшись от дремоты, Майса от удивления вскрикнула:

— Ой, где же моя тетя Гульджа?

Ответом было лишь молчание спутниц.

Не на шутку испуганная, Майса закричала на шофера:

— Немедленно остановите машину! Куда вы дели тетю? Куда вы меня везете?

Женщины схватили Майсу за руки и усадили на прежнее место.

Затем одна из них откуда-то достала халат и накинула на голову Майсе. Девушка сопротивлялась, что было сил.

— Ох, и невесточка, мала да удала! — вдруг произнесла одна из спутниц?

— До конца жизни что ли будешь держаться за подол матери? — проворчала другая.

Шофер закинул под язык очередную порцию паса и прошепелявил:

— Ничего, крашавича, ушпокойща, шкоро приедешь к швоему Батыр-джану.

Ошеломленная Майса попыталась вновь вывернуться из крепких рук женщин, но сопротивление ее было бесполезным.

«Что же я сделала плохого родителям? За что они со мной так поступили?» — роились мысли, набегая волнами друг на друга, и Майса беззвучно заплакала.

А женщины тем временем поторапливали шофера:

— Жми, Кумшук-ага!

— Чем быстрее приедем, тем быстрее кончатся наши мытарства! Ха-ха-ха! Отдадим ее в руки жениха, и делу конец!

— Ох, и попьем же чайку вдосталь! Упарились вконец.

— Да, шайку бы не мешало, — противно прошипел шофер.

Майса едва дышала, голова шла кругом, ее мутило. «Азат, где ты, родной? Если бы ты знал, где сейчас я, ты бы прилетел сюда птицей, освободил бы меня от этих мерзких людей!»

Майса хотела крикнуть, что не будет невестой Батыра, чего бы ей это ни стоило, но вслух произнесла другое:

— Ой, я задохнусь, вы же мне все ребра стиснули.

Женщины, противно хихикая, немного высвободили Майсу. Теперь уже они были далеко от ее дома, а машина мчалась на хорошей скорости.

* * *

После того как увезли Майсу, Селима-скупого и Нурчу охватило беспокойство. Они впервые за долгое время почувствовали угрызения совести. Боясь смотреть друг другу в глаза, они слонялись по двору как неприкаянные. Каждый из них находил для себя оправдание, но мысли были приблизительно одинаковыми. Не то, чтобы родители переживали за свою корысть, их беспокоило лишь то, что скажут в колхозе, если узнают истину. Селим-ага утешал себя: «Моя дочь, как хочу так ею и распоряжаюсь, никому дела нет до моих решений».

Нурча, беспокоясь, придумала, как обмануть друзей падчерицы, и попыталась приняться за домашние дела, но ей это плохо удавалось. То и дело родители с тревогой смотрели на калитку дома, опасаясь, что к ним начнут приходить друзья дочери.

Гозель с утра уезжала в отдаленную бригаду и очень переживала, что Майса ее не застала и не передала свое письмо для Азата. Поэтому она сама отправилась домой к подруге.

— Салам алейкум, Селим-ага!

— Салам, Гозель! Зачем пожаловала?

— Что вы такой хмурый? Случилось что? Где Майса? Я ее сегодня так и не увидела.

Нурча тут же запричитала:

— Ох, Гозель-джан, ты не представляешь, какая у нас беда! Опозорила нас скромница Майса... Убежала из дому... А куда и с кем, ума не приложим...

Гозель приняла слова Нурчи за чистую монету. Она подумала, что это проделка Азата. «Но зачем он поспешил, горячая голова? Ведь все так хорошо складывалось уже», — осуждающе подумала женщина.

— Не плачьте, тетя Нурча! Если ушла Майса, то ушла недалеко, мы ее отыщем, — с этими словами агроном направилась в правление колхоза.

Селим-ага обрушился бранью на Нурчу:

— Ты совсем спятила? Зачем было тебе трепать чушь? Теперь ведь эта дотошная Гозель ни за что не отстанет, пока не узнает правды. Начнет все вынюхивать и тогда... — он не договорил.

— О аллах, агрономша эта так неожиданно явилась, что я ничего лучшего не придумала... — оправдывалась жена.

— Навязалась ты на мою голову! Что теперь будет? Ох и дура же у меня жена! — с этими словами Селим-скупой бросился в дом, начал перетаскивать в коровник отрезы и узлы с платьями, полученные от Тувак-эдже. Деньги он засунул за балку на потолке.

«Волга» продолжала увозить Майсу все дальше и дальше от дома. Девушка мучительно думала, как ей быть дальше, что предпринять, но твердо решила, что

поступит по-своему: «Не бывать этой свадьбе! Я им покажу еще, какая я робкая! Не вещь же я в конце-концов... Как только приедем на место, так я устрою скандал, какого еще никто не видел. Потребую, чтобы привели секретаря комсомольской организации, все выложу как есть», — но тут же поняла, что все задуманное ею не так-то легко осуществить.

То, что машина мчалась на большой скорости, Майсу тревожило еще сильнее. «Вдруг завезут в пески, кому смогу пожаловаться? Я ведь даже не знаю, куда меня везут». Сердце девушки отчаянно билось, в висках гудело и острая боль в голове не позволяла как следует сосредоточиться.

— Воды! — потребовала Майса.

— Скоро уже приедем к каналу, потерпи немного, — ответил шофер. — Я и сам с удовольствием умоюсь.

До канала, действительно, оказалось недалеко. Шофер, не доезжая до моста метров двести, остановил машину.

— Выходите все. Разомнитесь немного. Да и мотор пока остынет. Пойду умоюсь и залью новую воду в бак. Боюсь, чтобы мотор не перегрелся.

Шофер взял ведро и направился к каналу. Женщины вышли из машины тоже охотно и предложили Майсе:

— И ты, невеста, выходи. Небось, совсем умаялась. А то вместо красавицы привезем мокрую курицу. Ха-ха-ха!

Спутницы Майсы двинулись в другую сторону от канала, подальше от шофера. Майса откинула халат, взглянула внимательно, на месте ли ключ зажигания. Вздых облегчения вырвался у нее, ключ шофер не взял с собой. Перебравшись на место шофера, Майса уверенно повернула ключ зажигания, нажала на стартер, и машина тронулась с места.

Умывшись, шофер наполнил ведро водой. До его слуха донесся рокот заведенной машины, он недоуменно и недоверчиво посмотрел в сторону своей «Волги».

— Что же это такое? Или я схожу с ума? — вскричал вслух Кумшук-ага, глядя на разворачивающуюся машину.

— Эй, на помощь, машина ушла! Да где вы там, что вы копошитесь? Машина уезжает, о боже! — кричал шофер в изнеможении.

Женщины, ничего не понимая, смотрели на Кумшук-ага с удивлением:

— Что ты раскричался? В чем дело-то?

— Да посмотрите же вы, машину угоняют! — в отчаянии заламывая руки, надрывался шофер. — Как ее теперь догнать?

До женщин, наконец, дошло происходящее.

— Вай! Вай! Все пропало!

— Там же невеста!

— Вспомнили о невесте! Машину! Машину мою угнали! А-а-а! — со стоном вскричал Кумшук-ага.

Втроем они встали на дороге и в нетерпении начали поджидать хоть какую-нибудь проезжавшую машину. Но, как нарочно, ни одна не проезжала. Наконец какая-то показалась из-за поворота. Они отчаянно замахали руками. Старенький «ГАЗ-51» остановился.

— Дружок, какой-то негодяй... увел мою «Волгу»... помоги догнать! — с мольбой обратился Кумшук-ага к водителю.

— Ох, хороший человек, помоги, там... в машине... невеста...

Водитель грузовика никак не мог сообразить, так как все трое кричали сразу.

— Стойте, стойте! По очереди! Какая машина? Что за невеста? — переводя взгляд с Кумшук-ага на женщин, спрашивал водитель.

— Да ты их не слушай, раскаркались как вороны! Я вот здесь, друг, остановил машину, пошел умыться, воды набрать. А кто-то в это время, — чтоб ему пусто было! — увел мою машину. Новенькую «Волгу». Да ты садись быстрее, дружок, давай догоним! Вон она уже сворачивает... ай-ай-ай! Отблагодарю, если догонишь!

Женщины уселись в кузове, Кумшук-ага сел рядом с шофером.

Но Майса удалилась уже на приличное расстояние от преследователей.

* * *

Великолепно утро в Каракумах! Песчаные барханы еще не раскалены солнцем, а при дуновении ветра, словно волны морской пучины, набегают друг на друга. В травах и мелкорослом кустарнике отдыхает овечье ста-

до. Суслики опасливо принохиваются, и зачуяв запах овец, с писком скрываются в норки. А вон задал стрелочка лопоухий заяц.

Азат с удовольствием взирал на окружающую красоту. Поодаль от него стоял его новенький мотоцикл.

«Сегодня вечером, если отпустит Мерген-ага, поеду на своем «железном коне» к своей Майсе», — мечтательно размышлял влюбленный. «Если постараться, то можно за три часа домчаться до Майсы. Скорее бы нам быть вместе постоянно! Как было бы здорово, если бы и она поселилась здесь! Дошла бы овец, присматривала за ягнятами...»

Его приятные мысли были внезапно прерваны, так как подъехала грузовая машина, из которой вышли заведующий фермой и шофер. Они поздоровались с Азатом и многозначительно улыбнулись.

— Что с вами? Золото нашли что ли? — спросил шутливо Азат.

— Это ты счастливчик, нашел золото, — ответил заведующий.

— Я?! — изумился Азат.

— Ишь, разыгрывает нас! — заведующий фермой продолжал в том же тоне.

Азат ничего не подозревал, с удивлением смотрел на них.

— Что с вами, друзья?

— А не ты ли увез вчера нашу красавицу Майсу?!

— Что?! — Азат крикнул, чуть не задохаясь. — Кто... кто вам сказал?

— Гозель... агроном...

— Когда?

— Говорим же, вчера... Да что с тобой? Или это неправда?

Бледный Азат в ответ лишь попросил, чтобы они побыстрее прислали на кош Мерген-ага.

Грузовик уехал, а Азат расстроенный сел на землю обессиленный. «Какой же подлец увез мою Майсу? Неужели ее продали? Как посмели?» Юношу трясло от гнева. Его неотвязно преследовал образ растерянной Майсы. Она будто его молила спасти ее.

Время тянулось бесконечно долго. Азату не терпелось скорее броситься в розыски Майсы, а Мерген-ага все

не было. Азату с каждой минутой представлялись картины все ужаснее.

Наконец, появился Мерген-ага, который был уже обо всем извещен и без слов сменил Азата.

* * *

«Родители были согласны, а они все-таки убежали тайком?» — недоумевала Гозель, направляясь в сельсовет. «Что я скажу председателю? Он же может мне ответить, что влюбленные по обоюдному согласию убежали!»

«Но здесь что-то не так. Мне бы Майса все рассказала», — думала Гозель с поселившейся в душу тревогой.

Председателя на месте не оказалось. Шекер-эдже уехала в соседний колхоз.

Затарактел вдалеке мотоцикл и по мере его приближения агроном узнала, что это мотоцикл Азата.

— Стой! Стой! — закричала Гозель.

Азат проскочил мимо, но, видимо, поняв, что кричала-то агроном ему, остановился.

Гозель сама подбежала к Азату.

— Ну рассказывай! Как это вы надумали сбежать? И куда сейчас так мчишься?

— К Селиму-скупому, душу из него вытрясать!

— Это почему же?

— Будто тебе неизвестно, что они мою Майсу куда-то отправили. Кому они ее просватали? Но я это так не оставлю! Заставлю вернуть Майсу!

Юношу колотил озноб, настолько он был разгневан.

— Не ходи к ним! А сделай так, как я тебе скажу. Поезжай в соседний колхоз за Шекер-эдже. Пока ты ее привезешь сюда, я приведу в сельсовет Селима-ага с Нурчой.

«Ах, бедная Майса! Чем мы теперь сможем ей помочь? И виновата я во всем... Почему я послушалась Майсу, не стала вмешиваться в ее отношения с родителями. Мы же все прекрасно знали, что из себя представляет эта семейка. Надо мне было самой пойти к ним и разъяснить, что нельзя противиться взаимной любви молодых людей, что те времена канули в Лету... А если и это не помогло, надо было привлечь общественность,

Майса все-таки слишком робкая и доверчивая, чтобы настоять на своем. Моя вина в случившемся...» — казнила себя Гозель, подходя к дому Селима-скупого. Она еще не знала как и с чего начать разговор с родителями Майсы, но твердо решила вывести их на чистую воду.

Одновременно с агрономом подошла к дому Селима-ага еще одна женщина. Встав у калитки, она с вызовом крикнула:

— В этом доме есть кто-нибудь?

Выскочила во двор Нурча. При виде женщины мачеха Майсы изменилась в лице.

— Ой, сватья, это ты?

— Да, я. А ты меня не узнала, что ли?

— Узнала, ой-ой! Сватья, что ты такая сердитая?

— Чтоб вам с мужем провалиться! — закричала Тувак-эдже. — Обманули меня! Показывайте, рассказывайте, где ваша доченька спряталась? Скромница! Ах, какая скромница! Да эта скромница трех взрослых вокруг пальца провела! Укатила на машине! Где она? Обманщики! Все ваше семейство подлое в сговоре против меня бедной вдовы и моего бедного сиротки Батыра! — не давая вставить слова Нурче, кричала Тувак-эдже.

На крик вышел и Селим-ага. От волнения он едва выговорил приветствие:

— Э-э-э... а в чем дело?

А захлебывающаяся от негодования Тувак-эдже, не взирая на присутствие мужа, Нурче влепила пощечину.

— А ну, верните-ка мои вещи! Негодяи, чтоб вам пусто было!

— Не кричи, что раскричалась! — попробовал урезонить Тувак-эдже хозяин дома.

— Тьфу на твою седую бороду! — запальчиво крикнула ему в лицо Тувак-эдже.

— Давай, сватья, разберемся, что попусту нервничать, — пропустив оскорбление мимо ушей, вновь начал Селим-скупой.

— Не смей называть меня так! Бесстыдник! Обманщик! — извергала все новые и новые ругательства обманутая женщина. — Не стыдно тебе мужской тельпек носить? Зачем скрывали, что у нее есть любимый!

Нурча, опомнившись к этому времени, перешла в наступление.

— Мы отдали вам нашу дочь, а если вы не сумели с ней справиться, то пеняйте на себя, разини! И вообще что ты тут городишь, что мы у тебя брали?

— Ах, так! Сейчас я вам покажу, что вы ничего не брали!

— Селим-скупой, увидев, что рядом стоит Гозель и собираются любопытные соседи, крикнул властно жене:

— Верни ей все, сейчас же!

Нурча нехотя побрела в коровник, где были спрятаны вещи. Со слезами на глазах она швыряла один узел за другим к ногам Тувак-эдже.

— На, на, бери! Подавись этим барахлом!

До сих пор молчавшая Гозель вышла вперед и сказала супругам:

— Вам следует прийти в правление колхоза в семь часов вечера. Ваше поведение мы разберем. А вы, — обратилась Гозель к Тувак-эдже, — пойдете со мной, вы тоже будете присутствовать на правлении.

* * *

Тем временем Майса сидела в поселковом отделении ГАИ. После того, как она рассказала всю горькую историю о себе, дежурный инспектор, проникшись сочувствием, тут же решил помочь девушке. И когда он спросил у Майсы, кого же вызвать, чтобы за ней приехали, девушка, не задумываясь, назвала имя любимого:

— Разыщите Азата, пожалуйста...

ТОХТАГЮЛЬ

Решение колхозников было единодушным: «Урожай вырастили богатый. Давайте к празднику Октября выполним план, продадим хлопка государству сколько наметили». Однако едва до шестидесяти процентов успели дожать, как погода начала хмуриться. И пришлось выйти на уборку всем селом, до стариков и малых ребятшек. Отправились убирать хлопок и Селим-ага со своей женой старушкой Дурсун-эдже. Уж их-то не позвали бы, если б не спешка.

Возвращаются они как-то с поля усталые, руки за спину. Вот и главная улица села. И тут Селим-ага замедлил шаг. Увидел неподалеку на дороге огромный камень. Видать, свалился с проезжей машины, а убрать никто не догадается.

— Дурсун, давай-ка мы его хоть на обочину сдвинем, — предложил Селим-ага.

— Да что ты? — изумилась старуха. — Неужто нам вдвоем осилить?

— А давай попробуем!

Они подошли к камню. Первым наклонился Селим-ага.

— Взяли! Раз, два, нажали!..

— Вах-вах-вах! — Дурсун-эдже попыталась помочь мужу. — Сил моих не осталось, поясница будто чужая...

— Смелее! Ну, еще! Правда, «спасибо» нам все равно никто не скажет.

— Уж это точно. А споткнулся, наверное, ни один бедняга.

— Давай! Еще немного! Та-ак! Вот и ладно!

Камень с дороги сдвинули. Постояли, полюбовались — дело-то нелегкое — и пошли себе домой.

Жили они в новом доме из двух комнат. Селим-ага едва добрался до дому, сразу же уселся на топчан у входа. А Дурсун-эдже вошла, в печи раздула уголья и чайник с водой поставила на огонь. В этой комнате — тут сами старики жили — стояла кровать да шкаф, а на шкафу сложены стопкой три-четыре ковра и поверх еще одеяло новенькое.

Дурсун-эдже отворила затем дверь в комнату дочери Тохтагюль. Она два года назад окончила десятилетку и теперь тоже собирала в колхозе хлопок. Девушка ладная собой, точно игральная косточка — бобка. На работу выйдет хоть и в обтрепанном рабочем платьишке — все равно парни от нее глаз не могут оторвать. Однако же глаза самой Тохтагюль задерживаются лишь на одном из них: это Комек, недавно пришедший из армии. Они уже сговорились: как только завершится сбор хлопка, так и свадьбу сыграть. Однако родители девушки об этом ничего пока еще не знали.

Комната дочери сверкала чистотой, но Дурсун-эдже и здесь подмела, прибрала немного. Дверь оставила от-

крытой: пусть, мол, до прихода доченьки проветрится. Вышла к мужу:

— Ты чего тут сидишь? Идем, уже печка топится.

— Что-то я плохо видеть стал... Ты не знаешь, кто это вон там?

— Внй, да ведь это Досмет-молла, твой приятель! Идет с ребятишками с поля. Наверное; хлопок собирали...

Досмет-ага — он уже тридцать лет учительствовал в селе — и в самом деле возвращался вместе со своими учениками с поля. Досмет и Селим были самыми близкими друзьями. Все жители села от души любили старого учителя, а ребятишки-школьники слушались его беспрекословно.

Селим-ага не упускал случая о своем друге замолвить доброе слово: «Поглядите, что вкладывает в души ребят Досмет-молла. Такому человеку спасибо нужно сказать всем миром». «Так и есть! — обычно соглашались собеседники. — Ради наших детей он себя не жалеет».

...Вечерело. По селу разносились голоса парней и девушек, что с полей возвращались, рокот моторов, скрип и стук повозок. Вот двое парней о чем-то заспорили — и давай в шутку тузить друг-друга кулаками. Потом один из них бросился бежать, второй — за ним. Вокруг смех, одни кричат: «Держи!», другие подбадривают убегающего: «Не сдавайся!» Тут и Селим-ага не утерпел:

— Хайт! Лови!

— Вах, негодники! — забеспокоилась Дурсун-эдже. — Покалечатся, того гляди.

Убегавший парень вдруг споткнулся и хлопнулся на землю.

— Ага, что я говорила! — всплеснула руками Дурсун-эдже. — Вот и упал...

Однако парень сразу же поднялся на ноги. Тот, что догонял, принялся стряхивать пыль у него с одежды. Потом взяли за руки и зашагали дальше.

— Вроде прихрамывает, гляди-ка, — Селим-ага обернулся к жене.

— Ох, задала бы я им...

Селим и Дурсун отправились в дом, время было перекусить после работы.

— Все соревнование да соревнование... — ворчала Дурсун-эдже, расставляя перед мужем чайник, пиалу, чурек. — А дочь уже вон сколько дней не вижу. Жива, ли, нет, ли...

— Похоже, пришла дочь-то...

Верно, кто-то шел по двору. Однако совсем не Тохтагюль. Она в этот час еще работала со своей бригадой на пункте приема хлопка, подавала на весы доверху набитые канары.

А по двору шагал мужчина — дородный, чернобородый, в коричневом, заботливо расчесанном тельпеке и сером чекмене, подпоясанный платком из козьего пуха. Звали этого почтенного с виду человека Хан-ага, и направлялся он сватать дочку Селима и Дурсун.

Хан-ага приходил сюда уже и в прошлом году. Но тогда Селим-ага заявил: нынче выдавать замуж дочь не будем. Тохтагюль сама была дома и все слышала. Однако в то время никто еще не владел ее сердцем, и приход неожиданного свата не вызвал у девушки никаких чувств. Отец завернул свата прочь, а ей и горя мало.

Но что бы она сказала теперь? И что Селим-ага ответит свату во второй раз?

Гость между тем вошел, и хозяйева учтиво приветствовали его. Только он уселся и хотел приступить к разговору, с работы вернулась Тохтагюль. Сразу заметила, кто явился, поняла — зачем... Скользнула к себе в комнату, но потом дверь тихонько приотворила и стала прислушиваться. Хан-ага, осушив пиалу чаю, проговорил с важностью:

— Ну вот, сверстник. Я опять пришел.

Старики призадумались, в сердцах тревога. Ведь Тохтагюль единственная дочь, все заботы о ней. Дети у них рождались, да умирали; вот они ей дали имя Тохтагюль — «останься, наша роза». Но долго ли ей суждено еще оставаться с родителями?

— Ребенок она еще... — проворчала старуха не очень приветливо.

— Как же, как же! — с улыбкой одобрения закивал головой степенный гость. — Свое дитя для родителей всегда младенец.

После этих слов Хан-ага принялся расхваливать семью жениха — в каком достатке да согласии живут, каким авторитетом пользуются в своем колхозе. Селим-

ага его слушал не слишком внимательно. У него перед глазами ожгло время, когда маленькая Тохтагюль бегала в школу и тонкие косички торчали у нее в разные стороны. Он глянул гостю в лицо: «Вроде человек неплохой... Завернул я его в прошлом году, он опять пришел... Сын его тоже, наверное, порядочный парень». Тут ему представилось, как дочь умоляет его со слезами: «Отец, милый, кому вы отдаете меня? Единственное дитя свое за какую провинность сжигаете на огне?..»

— Ну вот, сверстник, — прервал его раздумья Хан-ага. — Теперь слово за вами.

— Что ж, — нехотя отозвался хозяин. — Мы подумаем...

Дурсун-эдже наострила уши. Она надеялась: вот сейчас муж ответит, мол, нет у нас дочки на выданье да и все тут...

...Ведь как хорошо, когда дочь рядом и ты ходишь, на нее не налюбуеться! Правда, и тут кое-кто упрекнет: «Побойся бога, не держи дочку будто на привязи!» Ну, конечно, Дурсун-эдже не намерена слушаться кого попало. А дочь у нее разумная девушка. Ох, да будет ее счастье светлым! Пожалуй, хорошие люди — семья этого Хан-ага. И будущий зять, кажется, парень славный. Вот они с Тохтагюль поженятся и станут вдвоем навещать ее, Дурсун-эдже...

А Селим-ага обо всем догадался и про себя ругнул старуху: больно, мол; ты скорая! Тут и Хан-ага поднялся с места. Намекнул, что следует завершить доброе дело и что будет он теперь от Селима ожидать добрых вестей.

— Итак, сверстник дорогой, я на тебя полагаюсь.

— Ай, аллаху видней...

Гость простился и ушел. Тогда в комнату родителей вошла Тохтагюль. Видно было, что на душе у нее смятение. Старики, однако, сами сидели понурые.

— Тохтагюль доченька, — первая оживилась Дурсун-эдже. — Расстанемся скоро мы с тобой...

— Почему? — притворилась девушка.

— Сватать приходили тебя...

Тохтагюль не сдержала горестного вздоха. Брови сдвинула, лицо потемнело. Отец угадал ее состояние.

— Эх, дочка, — он потупился в тоске. — Лучше бы тебе сыном родиться...

Тохтагюль молчала. В эту минуту силы покинули ее, она не могла прямо сказать отцу: «Я люблю Комека и больше ни за кого не пойду!» Матери она бы, может, сумела открыться... Но что делать сейчас?

— Отец! Мама! — воскликнула в смятении Тохтагюль, — Если вы любите дочь свою...

Но глянула в лицо отца — и осеклась, в горле комок застрял. Селим-ага подождал, спросил:

— Дальше что, дочка?

— Ай, ничего...

Тохтагюль махнула рукой и вышла к себе в комнату. Вскоре Дурсун-эдже явилась к ней, поставила чай, еду. Села к дочке поближе, разговор завела. О предстоящей разлуке — ни слова. Самой старухе тяжело было касаться этого вопроса. «Ладно, пока еще бог весть, как там получится...» — подумала она. Пожалела дочь: «Горюет, бедняжка, печалится, ожидая разлуки с родительским домом...» И сама она вспомнила пору своего девинства. Как отец отдал ее за человека, которого прежде она и в глаза не видела. Будто в колодец бездонный бросили ее, горемычную... Дурсун-эдже сравнила судьбу свою и дочери, порадовалась:

— Слава богу, теперь-то как хорошо: можете друг друга увидеть, поговорить. Не то, чтобы тайком да за глаза.

— Конечно, мама, это так, но...

— Да будет светлым счастье твое, доченька!

— Не говорите, мама, ничего, прошу!

— Вий, что ты, побойся бога! — старуха придвинулась к дочери. Ласково тронула за плечо. — Милая, ведь ты у нас одна. Кто же, кроме отца с матерью, счастья-то пожелает тебе, а?

— Чего ж тогда вы торопитесь?

— Вай, козочка, да моя бы материнская воля — за дверь бы тебя не пустила, не то что...

— Ну, в чем же дело, если так?

Дурсун-эдже принялась толковать: дескать, у кого сын, те должны его женить, у кого дочь — замуж выдать, такова уж священная обязанность отца с матерью...

— Мама, — потеряла терпение Тохтагюль. — Вы хорошо сделаете, если перестанете меня мучить...

— Вах! Да что же ты, собираешься всю жизнь кибитку караулить?

— Догадываюсь, из-за чего вы хлопчете... — Тохтагюль всхлипнула. — Небось, пообещали вам за меня куш изрядный.

— Что ты, что ты! Стыдись!..

— Зачем же тогда меня сжигаете заживо?

Тут и Дурсун-эдже не утерпела, вспылила:

— До каких же пор ты думаешь во дворе у отца с матерью жить?

Тохтагюль со слезами кинулась на постель, в подушку лицом зарылась. Дурсун-эдже вышла. Хотела мужу рассказать, что с дочерью делается. Однако вспомнила: ведь когда ее в свое время замуж выдавали, она тоже плакала. И старуха только сказала, размышляя вслух:

— Добром все обошлось бы...

Селим-ага будто не слышал. Минуту спустя Дурсун-эдже проронила как бы невзначай:

— Ох, отец, не пришлось бы нам пожалеть...

— Что ты, жена! Ничего такого не будет... Ну, а если уж судьба нам породниться, то ведь Хан-ага вон, поблизости живет. Будем навещать, поглядим, что и как...

— Сколько сыновей-то у него?

— А что? — улыбнулся Селим-ага.

— Да так...

Между тем у старухи сердце уже разыграло: «Если породнимся, да у Хан-ага сыновей много, ведь наш зять, пожалуйста, у нас и будет жить!..

— Если я верно понял, четверо сыновей у будущего свата, — пояснил Селим-ага.

— Вот, молодец! — улыбнулась Дурсун-эдже и вздохнула с облегчением.

И весь этот разговор Тохтагюль слышала.

«Посмотрим, как удастся ваша сделка!» — молча пригрозила она старикам. Подождала немного: не скажут ли еще чего? Родители, однако, больше о ней не говорили. Девушка вернулась к себе. Остановилась в растерянности: за что приняться? Решила, во-первых: если завтра же сваты явятся, попросить, пусть, мол, повременят, пока урожай не будет собран. Вспомнила Комека, своего любимого. Побегать бы сейчас к нему, все рассказать... На ночь глядя, однако, не решилась. Потушила свет. Темно в комнате. Вдруг... кто-то вроде пытается дверь отворить... Тохтагюль в страхе вскочила с постели, свет

зажгла, выглянула в коридор. Увидела: дверь в комнату родителей приоткрыта, лампа чуть мерцает. Мать сидит с веретеном, а отец спит, откинувшись на подушки. Тихо все. Только кошка, выгибая хвост, об отцов локоть трется и мурлычет ласково.

Тохтагюль немного постояла и по-прежнему неслышно затворила дверь. Остановилась у полки с книгами. Светятся корешки любимых романов — «Решающий шаг», «Братья», «Судьба»... Вспомнились героини: Айна, Акчагюль, Узук. Каждая со своим любимым соединилась... Она упрямо тряхнула головой:

— Нет! Не позволю, чтобы меня продали!

На следующее утро Тохтагюль проснулась рано. И словно улетучились горестные раздумья, терзавшие ее накануне. Глаза смеялись, как обычно, щеки розовели. Дурсун-эдже увидела дочь — на сердце полегчало. Но тут вспомнила старуха о близкой разлуке, и опять заныло в груди...

Так миновало пять дней. Старики разузнали про семью Хаи-ага. Выяснилось, что женится его младший сын.

— Он, оказывается, пастух, с отарами овец ходит в песках, — поведали они Тохтагюль. — Должен в воскресенье домой вернуться. Отец обещал прийти с ним вместе к нам. Ты, доченька, погляди сама, поговори с парнем-то...

Тохтагюль в ответ ничего не сказала, только высчитала в уме: до воскресенья еще три дня. Она глядела из окна во двор. Там, поквохтывая, бродила желтая курица с цыплятами. Кошка, та самая, что вечером спать не давала, издали настороженно следила за цыплятами, сглатывая слюнки.

Несколько минут глядела на них Тохтагюль. Потом снова пригрозила в мыслях родителей: «Что хотите делайте, продать себя не позволю! Ишь глаза разгорелись, пять полтинников им посулили... Ну, хорошо, поглядим!»

Размышляя об этом, она и отправилась в поле. Возвратилась под вечер, настроение как будто ровное. После родителям книжку читала вслух, потом все вместе слушали радио, шутили, смеялись. Спать разошлись не очень поздно.

А на утро Дурсун-эдже заглянула в комнату дочери, видит — кровать пуста...

Старуха глянула туда-сюда — нет нигде Тохтагюль. Кинулась к мужу:

— Вай, отец! Дочери-то нашей не видать...

— Да вышла, наверное, куда-нибудь.

Дурсун-эдже опять выбежала во двор. «Чайник, может пошла охладить?.. Стала кричать, звать дочку:

— Аю, Тохтагюль! Где ты?

— Перестань! — успокаивал жену Селим-ага. — Чего кричать. Придет сама.

Но Дурсун-эдже не могла успокоиться. Обшарила весь двор и меллек. Почуяла недоброе — поспешила в дом, в комнате дочери шифоньер открыла... Так и есть. Не видать ни одного из нарядных платьев Тохтагюль... Только в углу валяется скомканное рабочее. Дурсун-эдже чуть рассудка не лишилась, запричитала на весь дом:

— Вах!.. Вах!..

— Что, что такое? — тотчас прибежал Селим-ага.

— Убежала!.. — Дурсун-эдже слова не могла выговорить, судорожно вдыхала воздух.

— Куда? Почему?

— Где мне знать...

Селим-ага без сил опустился на кошму.

— Да что ж это такое? — пролепетал он, тяжело вздохнув, Дурсун-эдже, убитая горем, опустилась на пол рядом с ним.

...А Тохтагюль глубокой ночью покинула родительский дом. Комек ее встретил. Утром они оба явились к учителю Досмету.

— Не сегодня-завтра выдадут ее замуж родители, — так совершил свое повествование Комек. Он сказал, что этого не допустит, ибо сам любит Тохтагюль и она его. Досмет-ага в душе подивился решению Селима: «Хорош друг! Даже не подумал посоветоваться. А молодые правильно сделали, с подобными отцами так и нужно.

После этого Комек увел свою невесту к родственникам в соседний колхоз.

Досмет-ага в тот же день отправился к Селиму. «Сейчас я тебя отчитаю как следует! — про себя грозил старик приятелю. — Оставишь свою затею».

От негодования он даже остановился, заговорил вслух.

— С ума ты, старик, наверное спятил! Единственную дочь проливать слезы заставляешь!..»

Селим-ага совсем пал духом. «Как я людям-то в глаза теперь погляжу?» Даже похудел, ссутулился. «Пусть земля провалится подо мною!» — шептал он в отчаянии. Он ходил по двору, повесив голову. Таким и застал его Досмет-ага.

— Ты что-нибудь слышал о них? — спросил друга Селим, поведав о случившемся.

— Слышал! — уверенно ответил Досмет. — И чтобы дочь свою теперь выкупить, возьми денег у меня.

Селим-ага вскипел вдруг, сверкнул глазами:

— Уйди!.. Уходи!..

— Вах, что с тобою?

— Уходи, говорю!

Дурсун-эдже всполошилась, мужа хватая за полу халата. Селим-ага отмахнулся, снова подступил к Досмету:

— Убиваешь ты меня... Лучше уйди!

Досмет-ага, рассерженный, потоптался и ушел. Только он за ворота, пожаловали родственники Комека. Целой гурьбой явились и ну старика упрашивать да умаливать: мол, так уж получилось, что теперь поделаешь, простите... И давайте породнимся добром... Селим-ага сидел, голову повесив, руками схватившись за виски. «Такого позору дождался на старости лет!..» Те не отставали — на все лады упрашивали помириться. Один сверстник, уселся рядом:

— Не мучай ты себя, сват! А если горе — давай пополам разделим!..

Селим-ага выпрямился:

— Навязались вы на мою голову! Прочь отсюда!

— Сверстник, да что с тобой?

— Уходите, видеть вас не желаю!..

Те помялись и ушли.

Три дня миновало, опять осиротевших стариков навестил Досмет-ага. Он понимал, в каком они состоянии, не сердился на Селима за его вспыльчивость. Селим-ага на этот раз у приятеля спросил:

— Ты как смотришь на это дело, а?

— Правильное дело! — с убежденностью ответил Досмет. — А то надумал дочь продавать... Бай ты, что ли?

— Были мы с тобой друзьями, Досмет... «Вместе с другом в битву, в спор, все покинув, что имеешь», — так ведь говорится? Вижу, не поймешь ты меня...

Досмет-ага нахмурился. Посетовал на самого себя. Понял: больше не надо ему приходить к Селиму...

И теперь уже никто не навещал оскорбленных стариков. Тяжкими были эти дни для обоих — Селима и Дурсун.

— И как это она сумела утанть, что у ней на сердце... — как-то раз упрекнул жену Селим-ага. Потом вдруг злоба его обуяла: — Нечего нам больше делать в селе! Пропади оно вовсе. Надо переселиться куда-нибудь...

Дурсун-эдже не нашлась, что ответить. Старик немного помолчал и выдал со вздохом:

— Вот, значит, что нам суждено было увидеть... Как нам теперь по земле-то ходить?

И опять старуха промолчала. Она вообще сделалась будто глухонемая. С тех пор, как дочь ушла, ни за что не могла приняться. Жаловалась: «В голове у меня разладилось что-то...» Точно сердце у нее вырезали, до того горевала она... Укоряла себя: «Было бы все по-хорошему, не пришлось бы доченьке моей убегать... Ох, сгореть бы мне, как это я не догадалась, что у нее, бедняжки, на сердце!»

— Уже двадцатый день пошел... — как-то сказала Дурсун-эдже.

— Двадцать дней не видели и дольше вытерпим.

— Отец, не говори так! Ведь единственное дитя...

— Нет, жена, нет!.. В самое сердце она меня ударила.

— Вах, что же мне делать-то? — у Дурсун-эдже слезы из глаз побежали. — Нет мне больше в мире места... Ох, дитя мое!..

— Да перестань ты!

...Еще один день начался, как обычно. Только глаза Селима-ага смотрели вокруг и будто не видели никакого смысла во всем окружающем. Ковры, сложенные стопкой на шкафу, кровать, в комнате дочери зеркальный шифоньер — по всему скользил он равнодушным взглядом, ничто не радовало глаз. Прежде-то с удовольствием каждый раз оглядывал старик комнату Тохтагюль... Все здесь было родным, хотелось погладить... А теперь?

Горько приходится человеку, если он ожидал похвалы, а слышит укоры. Так и нашим старикам. Уже заговорили все и о бегстве их дочери, и о том, что им самим, по ее милости, придется, наверное, из села уходить. «Задумал Селим-ага продать дочку, да и сам остался ни с чем...»

— Вот оно, самое-то горькое, — заключил Селим-ага, когда у него с женой шел за утренним чаем разговор об этих пересудах. Дурсун-эдже себя за воротник схватила — вспомнила:

— А ведь мы уже назначили день свадьбы! Как нам быть-то теперь?..

На это Селим-ага ничего не сказал. Решил: хватит подобных разговоров!.. Нахмурился, тяжело вздохнул. Не было слов выразить, как сердце у него изболелось. Помолчал, ногтем царапая кошму, повздыхал.

— «Пока растишь, цены не знаешь», верно говорят...

— Оно так... — кивнула Дурсун-эдже.

— Воспитывал, берёг — и тебя же чуть ли не собакой в конце концов называли...

Они сидели понурые, каждый со своими раздумьями. Кошка, видно, угадывая настроение хозяев, тоже присмирела, только щурила зеленые глаза.

И вдруг тихонько заскрипела дверь. Дурсун-эдже услышала первая. Вскочила на ноги. На секунду задержалась, с тоскою глянула прямо в глаза мужу:

— Отец!..

И к двери со всех ног.

На пороге стояла Тохтагюль, в синем бархатном халате и шелковом новом платке. Ослепительная, будто полный месяц на безоблачном небе. Стояла, не зная, что сказать, как ступить. Однако Дурсун-эдже сразу схватила дочь за руки, потащила в дом. Но тут отец поднялся им навстречу:

— Отпусти!

Затем Селим-ага подошел вплотную к дочери:

— Уйди с глаз моих!

Тохтагюль в жизни от отца резкого слова не слышала. У нее вспыхнули щеки, в горле словно ком застрял. Дурсун-эдже кидалась от мужа к дочери и обратно. Как их примирить, не допустить разрыва? Но Селим-ага потерял власть над собой:

— Убирайся, и пусть ад тебя поглотит! — снова загремел он на Тохтагюль. Угрожающе сверкали его глаза под седыми бровями. Дурсун-эдже, однако, про все на свете позабыла.

— Доченька! — восклицала она, сжимая Тохтагюль в объятиях. — Дитя мое!.. Скажи, наконец, где ты, как живешь?..

— Значит, я тебя мучил? — опять подступил к дочери Селим-ага. — Из-за этого ты меня заставила столько вытерпеть? Ну хорошо же, буду в самом деле жестоким отцом. Нет в моем сердце жалости!

В этот миг Тохтагюль мягко высвободилась из объятий матери. Точно подломившись, упала отцу в ноги:

— Папочка, милый...

От этого слова в душе старого Селима будто раскололось что-то. Он отвернулся, закашлялся, часто-часто втягивая воздух.

РАССКАЗЫ

ЛЮДИ

Вот беда! — про себя сокрушался Берды-Котур. Такую прорву лука вырастил, а сутки упустишь, прихватит морозом и конец, все труды прахом!.. «Сколько ни ломай голову, остается одно: снять с колхозной работы не только сына Ашира, но и невестку Дженнет, дочку Кырмызы и всех троих на меллек. Так Берды-Котур и объявил за вечерним чаем.

Сын и невестка промолчали. А дочь взмолилась:

— Папа, ведь я подруг на соревнование вызвала! В бригаде помидоры не убраны. Что люди скажут?

— Люди?! — не глянув на нее, протянул Берды-Котур. — Да чтоб им высохнуть, людям! Значит, оглядывайся на них, угождай, а свое добро пусть пропадает?!

В конце концов сговорились и вчетвером весь день убрали лук. На завтра Ашир с женой решили отдохнуть. А Кырмызы едва позавтракала — скорей в бригаду. Берды-Котур уселся на корточки возле груды собранного лука. Его супруга в это время подбирала на грядках оставшиеся луковицы.

— Смотри-ка, неймется нашему «бригадиру», — наблюдая за отцом из окна, обратился Ашир к жене. — Отпросились мы на день, а из-за него второй день прогуливаем...

Вздыхнув, Ашир побрел к двери. Неслышно приблизился к отцу. Тут рябой Берды с силой прихлопнул ладонью по своему тельпеку, и без того приплюснутому.

— Пересушили мы его! Да и я расхворался, и у тебя отговорка нашлась. Вот теперь гляди, — он бросил сыну под ноги горстку луковиц, самых невзрачных. — Кто станет такой лук покупать?

— И чего тут сокрушаться? — тотчас повела речь старушка Наргюль. — Такого просохшего лука набе-

рется с пять кило. Да и не отговорку нашел тогда Аширджан, будто сам не знаешь...

Ох, мелочные это разговоры, недостойные человека! Ашир слушал — и прямо сгорал со стыда за отца. Было отчего парню негодовать. В те дни, когда подошла очередь на их меллек пускать воду, Ашир по вечерам ходил помогать строить новый дом Керекули-ага, одинокому старику. Из-за этого всю неделю им на меллек воду подавали в поздние часы.

— Неладно говоришь, отец. Сперва к себе огонь приложи, а не жжется — тогда и другому, так ведь сказано.

— Что надо, то и говорю, — обиженно проворчал Берды-Котур. — Ты вот не знаешь, а этот Керекули — он председателем аулсовета был в войну. Расхаживал — тельпек набекрень, про голод и знать не знал. А у нас овсяная болтушка — той впроголодь...

— Не то отец! Как говорится, сотвори добро да хоть в реку брось, рыба не поймет, а народ все равно проведает.

Ашир только головой покачал. А Наргюль-эдже помолчав, молвила со вздохом:

— Да уж, как говорится, уголек в глаз тому, кто мирскими заботами не болеет.

— Хмм!.. — грозно набычился на жену Берды-Котур, но Ашир опередил его:

— Не к лицу нам избегать друг друга, из-за того, что кто-то когда-то был чем-то неладен. Сейчас папа, другие времена и люди не прежние.

— Времена может быть, а люди какими были, такие и остались. Ну-ка, попробуй подойди к кому-нибудь к дверям да попроси хоть двухгривенный! Думаешь, не натравят на тебя собаку?

— Ошибаешься!

— Я?!

— Неправ ты, отец, — не сдержалась и Наргюль-эдже. — Добрых-то людей немало.

— Мама, — тихо проговорил Ашир, — оставьте вы его...

— Ну уж если люди такие добрые и хорошие, — заговорил Берды-Котур — если верите, что они поддержат в трудный час, когда голодом станете помирать... тогда давайте поделим между ними все, что нажили!

— Все-то зачем делить? — вздохнула Наргюль-эдже.

— Ну, будет, поговорили! — Берды-Котур скривил губы. Ашир, давай-ка в правление за машиной.

Ашир — человек вообще-то скромный, даже стеснительный. Нет у него привычки обивать пороги в правлении, выпрашивать у башлыка машину. Даже зарплату получала за него жена. Вздохнул: делать нечего. Но тут на счастье Ашира возле их дома остановился бригадир. Оказывается, полив идет, а двое мирабов где-то запропастились. На Ашира вся надежда. Берды-Котуру и возразить нечего. Ашир-то радехонек. Только бригадир за калитку — он лопату на плечо и чуть не бегом к коллектору.

— А-хов, — не удержался все-таки отец. — Как же насчет машины-то?

— Придется, папа, тебе самому сходить.

— Пех-хей!..

Ашира уже и след простыл. Берды-Котур только головой покачал ему вслед. Этого не удержишь, нет. Такому, как он, для колхоза лишний час потрудиться, кому-нибудь услужить безвозмездно — все равно что двойную зарплату получить. Сокрушенный, поплелся старик в правление.

Чувствовал он себя в пути неважно — и вот почему. Уже не один год ветераны труда, вышедшие на пенсию, регулярно помогали колхозу чем могли. Все — но только не рябой Берды. Этот, как ему пенсию начислили, единого дня в колхозе не проработал. И вот теперь он опасался: попрекнет его за это башлык. Однако же ничего, обошлось.

— Члены твоей семьи отлпчно трудятся у нас, — похвалил председатель, может и с намеком. — Машину дадим, что за разговор. С Бехбитом поедешь.

Шел из правления — ноги едва касались земли от радости.

Оказалось, Бехбит только что возвратился с овощебазы. На ходу перехватил ппалушку чаю и снова соби-рался уезжать.

— Бехбит-джан, машина у тебя в исправности? — прямо с порога подступил к нему Берды-Котур. — Сейчас бы и поехать...

— Давайте лучше завтра на заре, — Бехбит только и думал о предстоящем рейсе.

— Вай, что ты говоришь?! Не ломай же у коровы хвоста...

Улумал все-таки парня. Поехали. Лука-то больше двух тонн. Погрузили — у Бехбита аж плечи заломило.

Они пересекли железную дорогу. Вот и станция Арчман. Дальше — асфальтированное шоссе, Бехбит предложил: неплохо бы перекусить. Но Берды-Котур ни в какую.

Когда спутник упрется на своем, тут ничего не поделаешь. Бехбит все-таки остановился наскоро выпил захваченную с собой бутылку лимонада, чуреку пожевал — и снова в путь.

Впереди расстилался такыр. Если ехать напрямик, как раз доберешься до аула, что в глубине песков. Но тут с запада надвинулись тучи, вокруг потемнело, трудно стало дышать. А Берды-Котур и совсем сник.

— Яшули, — не сдержался Бехбит, — похоже, с вами что-то неладное сегодня приключилось.

— Дети... — проговорил старик и еще ниже склонил голову, — дети наши совсем свихнулись, бога забыли. Ради чужих бегут не удержишь, а для себя, для дома — щетку с земли поднять ленятся.

— Ха-ха-ха! Это как же?

— Не смейся, сынок, верно говорю. Нынче уж как только я его, Ашира-то не упрашивал: сходи, дескать, попроси машину... Ни в какую! А едва бригадир на порог, он следом за ним, точно на веревочке...

— Так это же хорошо, Берды-ага! Колхозная работа ведь наше общее дело.

— Оно вроде и верно, сынок, да ведь на бога надейся, а сам не плошай...

Намеренья у старика всегда были вполне определенные: где б ты не работал, куда бы тебя не занесло, думай только об одном — как бы карман потуже набить.

— Как говорится, не всходи для меня ни солнце, ни луна, если нет со мной народа моего. Разве не так?

— Не так! — отмахнулся Берды-Котур. — Деньги у меня в кармане — вот он, мой народ. А если карман пустой, про тебя никто даже не вспомнит.

— Вот это, яшули, мысль в корне ошибочная. Есть такая важная штука — человечность.

— Э-э, братец, — Берды-Котур помотал головой, — уж на этот счет ты со мной не спорь. Человечность и все

такое прочее — в деньгах, только в них! Ты вот сам погляди: занимает человек руководящий пост в конторе, где побольше денег, так будь он во сто крат подлее каждого из нас — мы в рот ему глядим, но мы с каждым его словом согласны. А прогонят с должности — мы ж ему вслед собаку с цепи спустим.

Что говорить была доля правды, в рассуждениях Берды-рябого.

Встречаются, ох, встречаются низкие души, из всего умеющие извлекать выгоду только для себя...

— Гляди, сынок, на небо, — помолчав заметил Берды-Котур. — Тучи набегают. Жми поскорей, не то...

— Э, яшули, — успокоил Бехбит, — ничего страшного!

— Не скажи, братец, хлынет дождь, завязнем, а тогда кто придет нам на помощь?

— Люди! — отрезал Бехбит и сразу остановил грузовик, решив на всякий случай проверить масло в моторе. У Берды-Котура от волнения глаз задергало и нос начал подрагивать.

— Не повторял бы этой глупой присказки: люди, люди... Давай-ка лучше заводи машину!

— Нужно, яшули, чтобы мотор немного охладился.

Теперь уже все небось застлало тучами. А тут и ветром потянуло, дождь принялся накрапывать. Нелегко стало передвигаться по такыру. А до железной дороги еще целых три километра.

— Если бы мы в Арчмане подзакусили как следует... — проявил беспокойство Бехбит. — Дождь пока что только начался, обратно поедem — вот тогда, видно, припустит во всю мочь. Хорошо, если вконец не выбьемся из сил.

— Не выбьемся, — отозвался Берды-Котур и добавил язвительно, чтобы поддеть собеседника. — Люди ведь кругом, помогут как-никак...

— А вот в этом сомненья нет, Берды-ага!

— Тогда жми.

Тьма над ними сгустилась. И дождь с каждой минутой лил все сильнее. Теперь уже и руль не повиновался Бехбиту, машину заносило то передом, то задом. Вот забуксовали задние колеса. Бехбит резко прибавил газ — никакого результата... Хуже того — от бешеного вращения под колесами образовались траншеи. Берды-Ко-

тур выскочил из кабины, кинулся искать сучья или ветки...

Но что здесь отыщешь, в степи. Ветром несло навстречу только клубки засохшей колючки. Надвинув поплотнее тельпек Берды-Котур метался из стороны в сторону в поисках хотя бы прутика. Ничего! Наконец ему попался объемистый ком плотно свалявшейся колючки. Схватив его в охапку, Берды-Котур уложил прямо под заднее колесо. Натужно взревев, грузовик выбрался колесами из траншеи. Только тронулись — опять завязли. На этот раз Берды-Котур не пожалел своего долгополого халата — свернул комком и сунул под колеса.

— Простудитесь!

— Не беда!..

Но именно так и получилось. Когда завязли в третий раз и старик опять кинулся собирать колючку, он до нитки промок.

Влез в кабину — трясется вес. Да и сам Бехбит чувствовал себя не лучше. В сердце тревога все глубже закрадывается. Одна рубаша на попутчике, и та насквозь мокрая. Простудится старик того гляди... Однако не унывает.

— Люди придут на помощь. Жди от них, как же!..

«Если в людей не веришь и только на себя полагаешься — в мыслях попрекнул его Бехбит! — так хоть запасся бы в дорогу, как подобает человеку!» Вслух ничего не сказал, достал из-под сиденья свой засаленный ватник, накинул старику на плечи.

Снова поехали. На этот раз даже сотни метров не одолели — опять стоп. Но тут уже росли и колючка, и саксаул, и солянка. Берды-Котур будто одержимый принялся ломать сучья, стебли, таскать к машине. Однако силы вскоре оставили его.

— Вах, что-то в глазах у меня темно! — воскликнул он, собираясь зашвырнуть под колесо громадную охапку сучьев. Покачнулся — и грохнулся наземь...

Выскочив из машины, Бехбит торопливо поднял его, втащил и уложил на сиденье. Но и тут отовсюду продувал ветер. Машина-то старенькая, дождь заливает в кабину то справа, то слева. А старика лихорадка колотит — того гляди выскочит из кабины.

— П-помирать... видно... п-придется... — бормочет, стуча зубами. В пустыне глухой...

— Берды-ага, — ничего страшного.

— Как это ничего?! — у старика дрожь усилилась.

— П-п-пр-ридут, г-г-горишь, на п-помощь?

— Ну, конечно!

— А к... К-к-кто?

— Люди.

Берды-Котур умолк. Видно смеется над ним парень, не иначе... Конечно, очень даже странно звучит это утешение Бехбита: люди, мол, придут на помощь. Но Бехбит не сдавался.

— Яшули, верно говорю, — он силился ободрить старика. — Кто-нибудь да придет, вот увидите!

— П-придет, говоришь?

— Да, да!

А дождь уже припустился во всю мочь. И лихорадка подступила к старику — силы нет терпеть.

— Бехбит-джан, — умоляет старик, — оставь ты меня!

— Пе-хей, Берды-ага, — Бехбит только смеется в ответ. — Поправитесь!

— Ай, братец, ты не знаешь... Годы мои прошли. Столько прожил — и вот теперь такое претерпеть...

Но последних слов старика Бехбит уже не расслышал. Насторожился — и одним прыжком вон из кабины.

— Верно! — кричит. — Как я говорил, так и вышло! Вон, смотрите, люди! На тракторе!..

А у Берды-рябого и язык отнялся. Даже поздороваться толком не может с парнями, что подросли на помощь. Уже когда отогрели его, тогда ожил немного — глядит Бехбиту в глаза и про себя думает: «Смотри-ка, говорил, люди, мол, придут на помощь, верно оказалось! Молчит, однако.

— Ничего тут нет удивительного, Берды-ага, — с видом безразличия произносит Бехбит. Говорил я, люди придут — они и пришли.

— Хей, да разве ж есть что-нибудь удивительней этого? — лицо старика светлеет. — Кто вы, сынки, откуда? И как сумели нас отыскать?

— Мы с разезда, что за Арчманом, — отвечает один из парней. — Перед заходом солнца вы мимо нас проехали. А тут дождь. Ну, мы и подумали, глядя на вас: дождь разойдется, завязнут они, из сил выбьются. На трактор и давай за вами следом...

АЙНАГОЗЕЛЬ

Год, когда к нам пришла Победа, выдался дождливым, однако, возместил убытки, понесенные от засухи в 1944-м. Добром отплатил за уход и старание земледельцев тонковолокнистый хлопок. На многих хлопковых картах коробочки на кустах завязались даже раньше положенного срока. Вроде бы теперь посевы и не требовали особо тщательного ухода. Но все равно на полях — движение, шум, говор с рассвета дотемна. Кто ведет полив, кто удобрения развозит да рассыпает. А тракторы с культиваторами снуют из конца в конец безостановочно, с рокотом и лязгом, будто в атаку устремляются один на другого. Звуки песен, что парни тут и там распевают во всю глотку, смешиваются с гулом моторов: разноголосый шум словно перекачивается волнами над просторами полей, где кипит работа.

Одна лишь Айнагозель, в головном платке, повязанном над самыми бровями, глядит отрешенно на текущую вдоль борозды воду. Все ее мысли — только о Ходжалы, муже, погибшем на фронте. «Где он, мой Ходжалы?» — без слов вопрошает она у быстро текущей воды, то и дело завивающей игривые воронки. Пусть уже справлены поминки по мужу, павшем на поле битвы, — не верится женщине, что его больше нет. Но вода бежит себе и бежит, с глухим однотонным журчанием, в котором, если вслушаться, можно различить: «Оставь надежду! Оставь!..»

Айнагозель неподвижно, не моргая, глядит на струю воды — как будто все-таки ждет ответа на свой вопрос. Не дождавшись, горестно вздыхает. Ей самой кажется странной безмолвная беседа, которую ведет она с водой.

— Не проводили б мы столько джигитов во цвете сил — не сгнуть было бы лютому врагу! — вслух произносит она.

Взгляд ее теперь притягивает две ивы на восточной окраине аула, что вошли в рост еще перед войной. В то время гордились они своим одиночеством посреди солонцеватой равнины. Теперь эти ивы трудно даже разглядеть среди многих деревьев разросшегося колхозного поселка.

— Давно ли казались, ого, какими высокими, — продолжает Айнагозель беседу с собой, — а нынче даже смотреть-то на них жалко...

В это время к ней неслышно приблизился Нокер — среднего роста, круглолицый парень. Спешил он сюда, радуясь тому, что Айнагозель одна, никого не видно поблизости. По его облику даже издали нетрудно было заметить: сегодня он решился напрямик сказать ей своей любви. Торопился, не разбирая дороги. Только Айнагозель вроде бы не замечала его и по-прежнему глядела на старые ивы вдали. С Нокером ей уже приходилось встречаться. И парень как бы невзначай, между разговорами, советовал ей: выходи, дескать замуж...» Да разве можно? — отмахивалась она. — Что люди-то скажут?» Ведь она так и оставалась жить в том доме, где впервые перед мужем открыла лицо. Покинуть этот дом — такого ей даже в голову не могло придти. Потому-то Айнагозель, едва завидев Нокера, лопату вскинула на плечо и направилась было прочь. Но парень уже приблизился, проговорил, как принято:

— Не уставай, Айнагозель!

— Спасибо...

По тону ее ответа, по тому, как оделась она, даже выйдя в поле, видно было — она все еще держит траур, постоянно думает о муже. Однако, похоже было, что потихоньку отступает, уходит ее безмерная тоска. Пояс, украшенный черными цветами, туго затянутый, как бы надвое делил стройную фигуру женщины. И влюбленному Нокеру она казалась красавицей.

— Айнагозель, — позвал он, — подойди-ка сюда.

Айнагозель вздрогнула. С беспокойством огляделась по сторонам. А Нокер ждал, нетерпеливо, с надеждой вглядывался в ее лицо.

— Так, значит, и уйдешь?

— Ну, а сяду — тогда что?

— Все-таки решила на огне сжечь свою молодую жизнь?

Айнагозель присела на копну. Тяжело вздохнув, низко опустила голову. Нокеру захотелось ее обнять.

— Айнагозель-джан... — сам не заметил, как вырвалось у него. Тепло его дыхания коснулось лица женщины. «Говорят, по отважному джигиту — семь лет траур. А я...»

Казалось она уже приняла какое-то решение.

— Айнагозель-джан! — снова позвал Нокер. Он по ее молчанию угадал, что происходит у нее в душе. Осторожно взял ее за руку. Но тотчас же они выскользнули из его ладоней. Когда же он снова потянулся к ней, она сама склонила голову к нему на плечо.

— Знаю, — проговорила тихо, — следом за умершим в могилу не пойдешь...

— Не подобало и мне ходить за тобой следом, пока время траура не миновало. Но сейчас... — и он несмело поцеловал ее в щеку.

— Теперь — как посоветуешь, — она подняла голову, негромко звякнули простенькие украшения у нее на шее.

— Пойдем!

Когда они пустились в путь солнце уже склонялось к полудню. Люди же всюду на хлопковых картах были заняты своим делом. Никто даже не догадывался о том, что произошло. Только жаворонки с шумом вспархивали в небо от треска сухих стеблей под ногами у Нокера и Айнагозель. Взлетали и парили высоко в небе, выводя свою нескончаемую песню.

Айнагозель замедлила шаги, лишь когда оба вышли на широкую дорогу. Потом даже остановилась. Нокер понял ее тревогу.

— Айнагозель-джан, — он рукой указал в сторону своего дома. — Не раздумывай, пошли! Прямо к нам!

Не тронувшись с места, она тыльной стороной ладони прикрыла себе рот. Перед глазами у нее в тот же миг словно живые встали свекровь Гюллер-эдже, свекор Неник-ага. «Нет!..» — прошептала она. Помолчав, коротко пояснила: она не может уйти от стариков. Вот так, не сказавши, не зная, согласны ли они. Нокер понял: если те не дадут согласия, она не уйдет. Обида вскипела в сердце у парня, хотя и признавал — любят старики свою невестку. Погода, начавшая портиться с утра, окончательно повернула на ненастье.

А в это время Неник-ага отдыхал у себя в кибитке. Гюллер-эдже, примостившись у порога, сматывала в клубок пряжу. Три готовых мотка были сложены в углу, она их уже давно приготовила. «Вернется Ходжалы-джан, дитя мое, — не раз думалось старушке. — Внушата пойдут, сотку коврик для колыбели...» Но пришла чер-

ная весть о гибели сына, там поминки — и матушку Гюллер словно бы отпугнуло от этих клубков.

А вот сегодня Гюллер-эдже снова извлекла эти три мотка шерсти на свет божий, да еще и за четвертый принялась. Слабая надежда затеплилась у нее в сердце. Как говорят, одному только шайтану — злему духу — не на что надеяться... Сын будто живой, встал у нее перед глазами, и она, как в давние времена, принялась тихонько напевать колыбельную песенку, которая дрожью и сладкой болью отзывалась во всем теле. Неник-ага лежал неподвижно, облокотившись на подушку, он не прерывал тихое пенье жены, в котором угадывались и скрытая гордость, и материнская тоска. Он видел хлопоты старухи, догадывался о ее намерении все же соткать коврик, с горечью подумал про себя. «Пусть ее! Да только Ходжалы не суждено полюбоваться тем, что руки матери для него сотворят...»

Должно быть старик утомился, лежа в одном положении. Подтянувшись, встал на ноги. Подумал, что бы такое сказать и теперь уж прервать нагоняющее тоску пение старухи. Но сдержался: сердце у нее болит, огорчишь еще сильнее невзначай... Прислушался, что там делается на дворе? Ветер завывает с каждой минутой все сильнее. «О аллах, видно, солнце-то на Стожары повернуло!» Высчитал сроки — нет, как будто не выходит, рано еще.

— Оставь работу, возмись за обед, — обернулся Неник-ага к жене. — Погода разыгралась, невестка, по-ди, теперь долго не задержится.

Гюллер-эдже отложила пряжу. Встала, раздула огонь в железной печурке, дров подбросила, поставила котелок.

Как раз в этот момент Айнагозель тихонько приоткрыла дверь.

— Пришла, доченька? — обернулся к ней Неник-ага.

Гюллер-эдже посторонилась, давая невестке пройти, спросила с участием:

— Не уйдешь снова-то, если распогодится?

Айнагозель внезапно покраснела, ей сделалось жарко. Растерянная, не зная, что ей делать — пройти в красный угол или стоять возле двери, опустилась на корточки, где стояла. Руку протянула к ведру с водой, зачерпнула полную кружку.

— Хей, зачем же пить холодную? — встревожился свекор, когда она поднесла кружку к губам. — Чай вот-вот закипит!

— Вах-вах-эй! — сокрушенно воскликнула Гюллер-эдже, когда невестка все же стала крупными глотками пить сырую воду.

Айнагозель чувствовала себя в безвыходном положении. «Нужно было мне уйти!» — повторила про себя. — Напрасно я домой заявилась...» Но такими приветливыми, милыми выглядели простые, привычные для нее лица обоих стариков! Понимала, сердцем чувствовала: вот допьет кружку и все скажет... Но нет, решимости опять не хватило.

«Истомилась, бедняжка!» про себя продолжала печалиться Гюллер-эдже, видя, с какой жадностью невестка пьет и пьет холодную воду.

— Эх, непутевая, чтоб мне высохнуть! — вслух укорила себя старая. — Мне бы загодя чайник-то вскипятить да заварить, а вот не додумалась!..

Айнагозель знала: Нокер ждет возле калитки. Но никак не находила повода начать разговор. Прошла в красный угол. Сняла и в клубок смотала пояс, положила в шкаф. Взгляд ее упал на фотокарточку Ходжалы. Некоторое время она разглядывала давнюю фотокарточку мужа. «Прощай, Ходжалы! — проговорила без слов. — Я долго хранила память о тебе. Не верила черной вести. Ждала, только о тебе одном думала...» Она уже обернулась, чтобы те же слова сказать старикам. Но нет! До чего милые, теплые — теплей огня самого — их открытые лица! И она безмерную тяжесть ощутила на душе, поспешила принять вид, подабающей послушной и верной невестке-вдове.

Между тем Гюллер-эдже вскипятила чай, заварила, поставила пиалу и чайник перед Айнагозель, пытливо взглянула ей в лицо. «Где мой сын, дитя мое?» — хотелось крикнуть старушке. Вот этой головы моей поседевшей пожалел бы, — с тоской подумала она. Неник-ага, видя, как, скромно, с достоинством держится невестка, и опять вспоминая, что сын уже никогда не вернется, — чтобы дотла разрушить дом того врага окаянного, который вас разлучил!». И Айнагозель чудом угадывала мысли обоих стариков, читала по их лицам, а сама с горечью осуждала то, что надвигалось неминуемо. Она

уже намеревалась отбросить, предать забвению свое чувство к Нокеру. «Вместе с ними проведу жизнь в скорби, там же, где они».

...Обо всем этом подумал, все представил себе и Нокер, когда давал согласие на то, чтобы Айнагозель похорошему простилась со стариками. Но вот сейчас тут, в доме, разговор не мог начаться. И Нокер, стоя возле калитки в напряженном ожидании, впервые горько посетовал на свою судьбу и даже рассердился на Айнагозель.

— Не думал я, — презрительно скривив губы, проговорил он. Точно обращаясь к возлюбленной — что ты такая... вероломная!

Обвинив ее — сразу же сам устыдился своих мыслей. Вспомнил, живо представил, как она была верна Ходжалы.

Не позволял себе предаваться недобрым мыслям. Нокер с беспокойством огляделся. Гулко откашлялся, заметив, что погода вконец испортилась, порывами ветра переворачивает даже листья на дынных стеблях, что устилают грядки бахчи. Айнагозель в доме услышала его — и сразу встрепенулась. «Все еще не ушел! — искрой промелькнуло в сознании — Сейчас выйду, скажу: уходи!..» Она рывком встала на ноги. В тот же миг скрипнула дверь, на пороге безвольно остановился Нокер.

Айнагозель низко опустила голову, носком ноги заскребла по ковру.

— Входи, Нокер! — ничего как будто не замечая, громко подбодрил гостя Неник-ага.

— Вай, отец! — на секунду прикрыв глаза и снова раскрыв, воскликнула удивленная Гюллер-эдже. — Ты что это чудишь. Нокер, говоришь? А и верно, Нокерджан, да неужто в самом деле, ты?

Несмело ступив только шаг, Нокер взял из рук хозяина протянутую пиалу с чаем.

— Да чего ты стоишь-то? — тотчас упрекнула его старуха. — Проходи, милый, на почетное место, садись!

— Вот... проходил мимо, случайно завернул... — Нокер виновато переминался с ноги на ногу.

— Ну и хорошо сделал! Усаживайся поудобнее.

Нокер нерешительно опустился на корточки. Сразу же Неник-ага повел разговор, расспросы о работе в поле, про то, каков хлопок уродился в этом году. Нокер, как

умел, пытался удовлетворить любопытство старика, но не забывал и про свою заботу. То и дело украдкой поглядывал на Айнагозель. Но она сидела скромно и неподвижно, мелкими глотками отхлебывала чай. Нокер с недовольным видом пробормотал:

— Ладно, я пойду...

— Да сиди ты, пожалуйста! — сразу с видом радующегося отозвался Неник-ага.

Айнагозель сколько ни терзалась про себя — поняла, уйти все равно придется. Глянула в лицо сперва свекру, потом свекрови, тихо вымолвила:

— Мама!..

Надо было видеть и слышать, как она произнесла это единственное слово. Кажется, никто из присутствующих ничего не заметил, и разговора не получилось — опять повисло молчание. Только чуть приметно вздрогнул Неник-ага. Секунду спустя и матушка Гюллер, смекнув, что момент ответственный, насторожилась, ожидая дальнейших слов невестки. А та, будто сбросив с плеч тяжелую ношу, внезапно осмелела:

— Мама... Если б мои слезы могли вернуть Ходжалы-джана, я бы их не пожалела, поверьте! Но... о своей доле пора мне подумать. И вы не обижайтесь на меня.

Никто не вымолвил ни слова, только Нокер пробормотал что-то. Снова — мертвая тишина.

Первым пришел в себе старый Неник. Закусив губу, пробормотал: «Э, проклятый враг!.. «Округлое лицо его стало клониться все ниже. «Да... как говорится, сперва к своему телу приложи, если не жжется — тогда и к чужому. А чего я еще мог ждать от невестки? — рассуждал он про себя. — Муж погиб, жена свободна...»

— Айнагозель, дитя мое, — медленно проговорил старик, — мы вынуждены с этим примириться.

— Доченька, Айнагозель-джан, — всхлипнула Гюллер-эдже. Ей подумалось, что та уходит к своей матери, — конечно, тебе нелегко...

А она молчала, стыдилась прямо сказать, что уходит к Нокеру.

— Мама, — Айнагозель подняла голову, несмело глянула на свекровь, — вы не беспокойтесь; я сама управлюсь.

«Значит, верно, — отметил про себя Неник-ага. — Без Нокера тут не обошлось. Что ж... Все по-честному».

— Невестушка, — проговорил он вслух, — нашего несогласия или обиды здесь нет. Воля твоя.

Айнагозель, наконец, встала. С глубокой тоской с благодарностью поглядела на стариков. Несмело пода-лась к двери. Нокер вышел первым, огляделся, вздохнул с облегчением.

— Вы оба для меня, — проговорила Айнагозель, — дороже, чем родные отец и мать!

И пошла к двери, ступила на порог. Гюллер-эдже все еще не могла взять в толк, что же тут в действительности происходит.

— Айнагозель, невестушка, — в последний момент, поняв, что она покидает их, окликнул Неник-ага. — Раз-ве ты ничего не возьмешь?

Она обернулась, качнула головой: нет. Еще задер-жалась на пороге:

— Отец... Я вас никогда не забуду!

Оба старика остались недвижимыми в своем доме, в комнате, которую они еще перед войной отделали для сына с невесткой. А она уже шла через двор следом за Нокером.

Гюллер-эдже, наконец, все поняла. Течение жизни не остановишь, тут ничего не поделаешь... Но как смирить сердце?

Неник-ага до этой минуты крепился, но тут и его по-кинули силы.

— Ну... — с укором проговорил он жене, все же беря себя в руки, — чтоб с этого дня не видел я твоих слез!

— Да я и не плачу, — Гюллер-эдже то ли устыдилась мужа, то ли поняла: сейчас необходимо быть стойкой во что бы то ни стало. — Не плачу!..

Ей удалось превозмочь себя — из уважения к мужу. Покрасневшие глаза сделались сухими, но сердце... оно плакало горько, безутешно.

СЮРПРИЗ

Завывание пламени в печах, работавших на мазут-ном топливе, бесконечный грохот от кирпича, погружае-мого на машины, — все это создавало невообразимый шум. К этому шуму подключался неприятный монотон-

ный гул глиномешалки, которая вращалась непрерывно под навесом, в метр высотой, чуть ли ни в самом центре территории завода.

Зато смотреть было приятно, как тот же механизм, засасывая груды комковатой породы, очень тщательно все перемалывал, месил, затем уже податливую эластичную густую массу выбрасывал в специальную продолговатую форму. Глина выскальзывала из зева глиномешалки, как хорошо вымешанное тесто. Потом ее разрезали на ровные части специальные ножи-лопаточки, и весь процесс напоминал приготовление хозяйкой пище, только все это было гигантских размеров. Разрезанные пласты плавно плыли по ленте транспортера для просушки в цех, затем для обжига в печах. Рабочие укладывали обожженный кирпич, подающийся транспортером в штабеля.

Немолодой, коренастый мужчина в брезентовых рукавицах кидал готовые кирпичи из штабеля на движущийся транспортер, с которого производилась погрузка на самосвалы. Как только погружался последний из штабеля кирпич, тут же следовало подтягивать транспортер к следующему штабелю. Работа, в сущности, не представляла особой хитрости, но была трудоемкой, утомительной. Приходилось постоянно то наклоняться, то выпрямляться, тело рабочего находилось в непрерывном движении. Мужчина работал уверенно, движения его были рассчитаны до предельной точности, и со стороны казалось, что работает он играючи. Но вот он на мгновение остановился, и с нахмуренным видом принялся растирать затекшие ноги и спину. В этот момент к нему приблизился стройный парень в защитных очках. Внимательно прислушался к мерному гулу механизма и мимоходом спросил рабочего:

— Как дела, Коссек-ага?

Не дожидаясь ответа, он направился дальше. Это был Аманов — заводской инженер. Посмотрев вслед инженеру, Коссек-ага про себя подумал о своем десятилетнем сыне: «Когда же, наконец, вырастит и мой Овезмурад-джан?»

Глубокий вздох вырвался из груди рабочего, и, задумавшись, он уставился неподвижным взглядом в какую-то точку.

Но долго раздумывать было некогда, транспортер подрагивал, будто призывая Коссек-ага нагрузить его до отказа. И руки рабочего вновь принялись за дело.

* * *

Вернувшись домой, Коссек-ага с порога хмуро оглядел комнату. Его жена, женщина средних лет, привычно сидела за каким-то рукоделием. В углу дочка возилась с грудой подушек и куклами. Увидев вошедшего отца, девочка радостно защебетала:

— Папа пришел! Посмотри, как я хорошо придумала. Это домик для моих дочек-кукол!

Но Коссек-ага было не до ее забав. «Вроде бы все на месте, чисто, но что-то не так, будто что-то угнетает. Наверное, это из-за низкого потолка и тесноты. Ну ничего, послужи еще месяцев 5-6, а там такой дворец на твоём месте отгрохаем!» — с досадой подумал Коссек-ага. Но дочка не желала замечать хмурого настроения отца, продолжала к нему приставать:

— Папа, а когда мы плановый дом построим?

— Скоро, дочка, скоро... «Вот и дочурка о том же...»

— И свой дворик будет? Я там буду играть?

Отец не выдержал, рассмеялся.

— Видно, ты не отвяжешься до тех пор, пока не выстроим новый дом.

Нурсолтан-эдже вступила в разговор, и чтобы только утешить дочь проговорила:

— Вот вырастет наш Овезмурад, закончит школу, тогда и дом выстроим.

— Мама, а скоро наш Овез вырастет?

— Ах, ты моя умница-разумница! — восхищенно воскликнул Коссек-ага и, подхватив дочурку, поднял ее над головой.

Развеселить Коссек-ага совсем не просто. Когда человеку перевалило за пятый десяток, много передумано и пережито. Вот и Коссеку-ага довелось перенести не одну беду.

Во время ашхабадского землетрясения на него обрушилась потолочная балка. Коссек-ага долго болел, трудно выздоравливал. Но и это еще не все... Кошмарная стихия унесла старшего сына Коссек-ага. Если б сын остался в живых, он был бы уже ровесником инженера Аманова.

После душевного потрясения и тяжелой травмы Коссек-ага работать смог только сторожем на заводе. Нурсолтан-эдже работала неподалеку от дома, в школе техничкой. Семейный бюджет был скромным, хватало лишь на необходимое. А уж о постройке нового дома думать не приходилось. Но Коссек-ага был упрям в своем желании. Он мечтал о новом доме, и поэтому решил обратиться к инженеру Аманову с просьбой перевести его на транспортер, где работать было нелегко, зато заработок был значительно выше. Аманов не смог отказать Коссеку-ага в просьбе, так как инженер был школьным другом погибшего сына сторожа. Аманов, правда, решился на это не сразу. Он прекрасно знал о подорванном здоровье Коссека-ага, и пробовал того уговорить:

— Трудно вам будет.

Но Коссек-ага ни за что не хотел отступить, и только твердил свое:

— Я тебя своим сыном считаю. Неужели ты не сможешь за меня похлопотать перед начальством? Мне очень нужны деньги.

И инженер добился, чтобы Коссек-ага перевели на транспортер. Хотя для этого Аманову пришлось долго воевать с заводским председателем профсоюзного комитета Курдовым. Председатель профкома пытался убедить и самого Коссека-ага в том, что работа на транспортере не из легких.

— Ведь со здоровьем у тебя неважно, зачем тебе подрывать последнее? Как бы не скрутила тебя в бараний рог новая работа.

— Ничего со мной не случится, я не хрупкая девушка, — запальчиво отвечал Коссек-ага на все увещевания Курдова.

Вскоре Коссек-ага убедился в том, что Аманов с Курдовым, к сожалению, правы. Одно дело желание заработать побольше, а другое — никудышное здоровье. Жена тоже замечала, что мужу очень нелегко на новом месте. Вот и сегодня от нее не ускользнул утомленный вид мужа.

Нурсолтан-эдже, стараясь как можно осторожнее, завести разговор с мужем, вкрадчиво начала:

— Все необходимое у нас с тобой есть... А здоровье ни за какие деньги не купишь, когда его потеряешь... И

прежних денег для нас было достаточно, а ты все не угомонишься. Может все-таки ты вернешься сторожем?

— Нет, я сказал, нет. Не только сытый желудок меня устраивает. У ровесников моих, почти у всех выстроены дома с красивыми крылечками, да расписными окнами, а чем я хуже?

— Ты ведешь себя как человек с завидующими глазами и загребущими руками, — не сдержавшись, заметила с досадой Нурсолтан-эдже. — Живем неплохо, а ему все мало, не достаточно...

— А то как же? — не остывал Коссек-ага. — Слушай, Нурсолтан, может нам с тобой ковры продать? — указал он на аккуратно сложенные ковры в углу комнаты. — А деньги пустим на постройку...

— Да ты что, Коссек? Кому они мешают? Еще, глядишь, и пригодятся!

Хозяин тяжело вздохнул, вновь взглядом обводя тесную комнату, перевел взгляд на стены, оклеенные обоями незатейливого рисунка, оглядел внимательно потолок.

— Тебе не кажется, Нурсолтан, что средняя балка заметно прогнулась?

— Нет, не кажется, это тебе все мерещется.

— Да ну тебя, женщина! Неужели нам так и доживать здесь, в этой каморке? — не унимался Коссек-ага.

— Не спеши, всему свое время. Можетждемся и мы своей очереди на новую квартиру. Ведь сколько семей уже обеспечили новым жильем... — старалась успокоить неугомонного мужа Нурсолтан.

* * *

Уже светлело небо, словно белым широким ручьем разлили кислое молоко. Перед воротами кирпичного завода выстроилась вереница самосвалов. Водители меж собой переговаривались, пользуясь несколькими свободными минутами, до начала погрузки кирпича.

— Мне сегодня придется попотеть, я должен доставить на объект несколько сотен кирпичей...

— Вах, вон ты о чем! А мы вчера с четырех дня вообще без кирпича остались.

А в это же самое время Аманов придирчиво проверял качество продукции. Рядом с ним был и Курдов. Из-за

острого подбородка, сильно выдвинутого вперед, Курдов казался еще более худощавым. Коссек-ага, наблюдая за ними, размышлял про себя: «Ну, этот худосочный сейчас к чему-нибудь да привяжется». Когда те двое приблизились, Коссек-ага отвернулся, делая вид, что занят работой. Вскоре распахнулись ворота и самосвалы начали въезжать друг за другом вереницей. Теперь Коссеку-ага не нужно было изображать занятого, работа, действительно, закипела. Ни у кого не было ни секунды для разговоров, шуток или ворчания. Нагружая кирпич, Коссек-ага не переставал думать о своем: «В прошлом месяце мне удалось хорошо заработать. Эх, только бы суметь продержаться на этом месте! Тогда можно было бы начать новую постройку...» При этом он тяжело вздохнул. Курдов по-своему это истолковал, заметив озабоченный вид Коссека-ага, и тут же обратился к нему:

— Видно нелегко тебе простаивать на ногах целыми днями. Ты немного отдохни, а я за тебя поработаю.

Коссек-ага отошел от своего транспортера, согласно уступив место Курдову. Председатель профкома, увеличив скорость транспортера, начал быстро кидать на ленту кирпич. Хотя работал Курдов и уверенно, но было видно по вспотевшему лицу, что ему не так-то просто дается эта скорость. Уступая место Коссеку-ага, Курдов твердо заявил:

Я, все-таки категорически против, чтобы ты работал на этом месте. Это слишком тяжелый для тебя труд.

Коссек-ага помрачнел. «Опять старая песня на новый лад. А что же делать, если нужны деньги для нового дома? Вот построю дом, выйду на пенсию, тогда, конечно, можно будет подумать и о легкой работе. А сейчас...»

— Коссек-ага... — начал было вновь Курдов, но рабочий делал вид, что не слышит, продолжая усердно укладывать кирпич на транспортер. Штабель опустел, и нужно было передвинуть транспортер к следующему. Но на этот раз Коссек-ага не справился с этой задачей — острая боль пронзила поясницу, и он, охая, рухнул на землю. Коссек-ага некоторое время не чувствовал как его тормозил подбежавший Курдов. Но вскоре острая боль немного отпустила и до слуха Коссека-ага дошло ворчание Курдова:

— Погибает не тот, кто голоден, а тот, кто генется за слишком большим куском. Ну, теперь посиди немного, я мигом...

Через несколько минут послышалась сирена «Скорой помощи». Уже садясь в «Скорую» Коссек-ага, с досады прикусив губу, подумал:

«Не дадут мне теперь уж работать недуги...»

* * *

Директор завода, Вашев Федор Матвеевич, мужчина крупного телосложения, с большой лысиной, медленно прохаживался около письменного стола своего кабинета. Напротив него по обе стороны приставного стола, образующего традиционную букву «Т», сидели Аманов и Курдов. Аманов, глядя на грузного директора, невольно отметил про себя: «У него, наверное, на душе абсолютное спокойствие, такой уже он невозмутимый с виду... Интересно, хоть что-нибудь его волнует?»

Производственные срочные дела были уже обсуждены. словно подслушав мысли Аманова, директор живо поинтересовался:

— А как себя чувствует наш яшули? Поправляется Коссек-ага? Кто-нибудь с завода его навестил?

— Да навещали. Теперь ему лучше, уже выписали из больницы. Но на прежнее место едва ли сможет вернуться, — поспешил с ответом Курдов.

Аманов заерзал на месте. Его опять успел донять Коссек-ага с просьбой восстановить на прежнее место к транспортеру. «Нет такого человека, у которого бы не болела голова или там поясница», — уговаривал инженера неумный Коссек-ага. А сейчас Аманов досадовал на себя за то, что не смог вновь убедить выздоравливающего перейти на место сторожа.

Но тем не менее инженер задал вопрос председателю профкома:

— Почему вы так уверены, что Коссек-ага не должен возвращаться на прежнее место?

Курдов ответил вопросом:

— А вы сами не понимаете, почему?

— Я считаю нужным удовлетворить просьбу Коссека-ага.

— Вы уверены, что он выдержит нагрузку?

— Если б он жаловался на здоровье, то не просился бы назад.

Курдов внимательно посмотрел на директора, а Федор Матвеевич по-иному расценил немой вопрос председателя профкома и высказал свое мнение:

— Пусть работает на транспортере.

— Нет, не получится, товарищ директор, — сердито вспылил Курдов. — Ведь человек едва поправил здоровье, неужели прямо из больницы опять нужно надрываться?

— Куда же его определим?

— Сторожем.

— Коссек-ага вернется к транспортеру, так как он очень просил меня об этом, и я... уже обещал ему... — произнес негромко, но четко Аманов.

— Вы и раньше помогли ему, довели тем самым до больничной койки.

Последние слова Курдова больно задели самолюбие инженера, словно ему публично влепили пощечину. Аманов вспыхнул до корней волос.

— Думайте прежде, чем произносить вслух. Что плохого я ему сделал?

Но Курдов твердо отстаивал свою позицию.

— Вы прекрасно понимаете, что только из-за вашей мягкосердечности или нежелания задумываться о последствиях своих распоряжений, вы допустили не вполне здорового человека на трудоемкий процесс. И надо набраться мужества, чтобы признаться, — вы допустили ошибку, и я вас именно поэтому и обвиняю.

— С каких это пор забота о приличном заработке рабочего — преступление?

— О заработной плате рабочего необходимо думать, но не в ущерб здоровью рабочего. А здоровье Коссека-ага оставляет желать лучшего.

— А не ошибаетесь ли вы, товарищ Курдов, считая Коссека-ага немощным?

Тем временем Коссек-ага никак не хотел сидеть дома. Его очень тревожила мысль, куда теперь его направят работать. Не спеша он вышел на улицу и ноги сами понесли его к заводу, остановился он у двери конторы заводоуправления. Он услышал взволнованные голоса и не стал входить в контору, а прислушался. Речь шла о

нем. Спорили между собой инженер и Курдов Коссека-ага так и подмывало узнать, чем кончится спор.

Слышно было, как Курдов горячился:

— Недопустимо, Федор Матвеевич, заботиться о материальном положении рабочего и пренебрегать совершенно физическим состоянием человека. Надо как-то по-иному решать этот вопрос!

Коссек-ага был крайне удивлен. «Смотри-ка, сам, словно камышинка, и голос-то, как у комара, а туда же, напирает на самого директора?!»

Затем Коссек-ага услышал и самого директора:

— Вы правы, товарищ Курдов. Конечно, совершенно безрассудно ставить нездорового человека к транспортеру.

Аманов молчал. А Коссек-ага после слов директора так разволновался, что чуть было не ворвался в кабинет директора. Он досадовал на Курдова, который, по его мнению, занес руку на его хороший заработок. Коссек-ага от гнева не в состоянии был подумать о том, что Курдовым руководила лишь истинная забота о нем.

Домой Коссек-ага вернулся абсолютно без настроения, сидел молча, насупившись. Отказался от любимого блюда, заботливо приготовленного Нурсолтан-эдже. Жена встревожилась не на шутку, но вскоре догадалась, что муж крадучись ходил на завод, и, видимо, дела его складывались не так, как того хотелось бы. Она неожиданно для Коссека завела разговор на наболевшую тему:

— Сам бы поговорил с директором, с глазу на глаз, а не перепоручал бы кому-то третьему.

— Ты права, жена. А тут еще Курдов везде суется, лезет со своими советами... Прямо спасу нет никакого...

— Вий, а ему-то что надо? Какое ему дело до тебя?

— Как раз он больше всех и против, чтобы я шел к транспортеру... Видите ли, он очень заботливый!

Едва Коссек-ага произнес последнюю фразу, как в дверь постучали и следом за этим на пороге появился председатель профкома.

Нурсолтан-эдже, взволнованная беседой с мужем, с вызовом посмотрела на Курдова:

— Проходите, как раз о вас говорили. Вот я думаю, что вам мой муж плохого сделал, что вы ему поперек дороги встаете?

Курдов непринужденно рассмеялся, видя, как воинственно настроена Нурсолтан-эдже, и весело проговорил:

— А уж если Коссек-ага мне не подчинится на этот раз, вообще буду возражать против всякой работы для него. Вот так, уважаемая...

Но хозяину дома было не до шуток.

— Если не пустите на прежнее место, ноги моей не будет на заводе! Найду себе работу сам. А то заладил, что я ни на что не гожусь.

Все еще улыбаясь, Курдов уселся рядом с Коссеком-ага и, не взирая на угрозы хозяина дома, протянул ему какой-то зеленоватый листок бумаги.

— Вот тебе путевка от профсоюза. Съезди, отдохни после больницы, восстанови силы, а там поглядим, куда ты пригоден будешь.

Коссек-ага удивленно поднял брови, разглядывая путевку.

— Что же это? Я... не... понимаю...

— Да что ты так разволновался. Повторяю, что профком позаботился и рекомендует тебе съездить на курорт, причем, на два срока, и бесплатно.

Коссек-ага нерешительно отложил путевку, но заговорил уже мягче:

— Вы заботитесь, это хорошо. Но мне курортов не надо, а если хотите действительно мне помочь, то не возражайте против того, чтобы я вернулся на транспортер. Я уже достаточно хорошо себя чувствую, и не собираюсь здесь год отсиживаться.

Другой бы давно отступился от такого упрямца, как Коссек-ага, но не таков был Курдов. Он решил во что бы то ни стало переломить упрямство этого настырного человека.

— Сначала поблагодари профком, не каждый день выделяют путевки в санаторий. И не каждый этого заслуживает. А тебя ценят на заводе. Приедешь с курорта, как розовый помидор, любо-дорого будет на тебя посмотреть, — настойчиво уговаривал Курдов.

— Нет, я лучше завтра же пойду на прежнее место, — заявил Коссек-ага.

Нурсолтан-эдже не выдержала и вмешалась в разговор. Уж очень ей не понравилось, что Коссек-ага упорствует, отказываясь от путевки:

— Ах, Коссек, как ты себя ведешь? Не лучше ли послушаться и отправиться на курорт?

Вздохнув, Коссек-ага протянул руку за путевкой и спросил:

— Когда мне туда нужно будет ехать?

— Через четыре дня, уважаемый Коссек-ага, — с улыбкой ответил Курдов.

• • •

Коссек-ага прибыл в санаторий, который располагался в живописнейшей окрестности озера Иссык-куль. Озеро Коссеку-ага представлялось в воображении иначе, а когда он увидел двухсоткилометровую чашу Иссык-куля был поражен его величию и красотой. Часами Коссек-ага мог наблюдать за изумительной природой, любовался водной гладью озера. «Огромна наша страна, ох, как велика и неповторима по своей красоте!» — не уставал удивляться рабочий, совершая ежедневные прогулки. На одной из таких прогулок к нему присоединился паренек киргиз.

Молодой спутник являл собой образец здоровья, энергии и явного добродушия. Майманкан, так звали этого парня, улыбнувшись, обратился к Коссеку-ага:

— Ну, как, Коссек-ага, поняли наконец, что полезно заниматься гимнастикой в любом возрасте?

— Вот хитрец, хочешь напомнить мне о моей недавней глупости, когда я упрямо отказывался от физкультуры? — добродушно усмехаясь, вопросом ответил ему Коссек-ага. — Теперь-то я уж ощутил на себе, насколько полезно делать зарядку и ходить пешком побольше.

— Это вы сможете и дома продолжить. Вот вы скоро вернетесь в свой Ашхабад, но и там не переставайте чаще бывать на воздухе и ходить пешком, — посоветовал Омуралиев. — Чтобы быть выносливым, надо регулярно заниматься гимнастикой, не бросать.

— Да уж... А мне, по правде сказать, очень не хочется ходить в слабеньких, понимаешь, Майманкан? Меня ждет работа... — мечтательно проговорил Коссек-ага. — Ну, ходьба ходьбой, а вот кумыс ваш — волшебный напиток, ничего не скажешь.

Но Майманкан на этот раз даже рассмеялся. Он отлично помнил, как этот же Коссек-ага поначалу ни за что не хотел пить кумыс, и на все уговоры отвечал ворчливо: «Не туберкулезный я, зачем мне его пить?..»

Коссек-ага, смущенно спрятав улыбку, продолжал:

— От вашего кумыса у меня жирок даже завязался.

— А почему у вас не пьют кумыс, Коссек-ага? — поинтересовался Майманкан.

— Этого я не знаю. Но только и у нас есть много полезных вещей, — гордо ответил Коссек-ага. Например, у нас пьют верблюжий чал, и он по-своему тоже незаменим. И польза от него большая. Да еще терне — маленькие такие дыньки — они тоже очень полезны. Особенно хороши терне, пока с них пушок не сошел. Вот только столько санаториев у нас пока еще нет, но, наверное, со временем и их выстроят...

Их разговор был прерван из-за катера, который собирался причалить неподалеку от них. Омуралиев предложил Коссеку-ага прокатиться на катере вместе с другими отдыхающими. Но Коссек-ага отказался, сославшись на то, что ему еще надо заказать телефонный разговор с Ашхабадом. Его отдых подходил к концу, он очень скучал по своим домашним. Да и еще не менее важная причина толкала Коссека-ага к переговорам по телефону с женой. Пока набирал сил и здоровья наш герой, он много слышал о том, что отдыхать здесь совсем не дешево. От некоторых отдыхающих Коссек-ага узнал, что путевка им обошлась в сумму более 280 рублей. А ему вдруг дали бесплатную путевку?! «За какие такие заслуги? Нет, здесь что-то не так...» — нередко задумывался Коссек-ага в силу своего недоверчивого характера. И вот своими сомнениями он решил поделиться с Нурсолтан-эдже. Вернее, захотелось ему исподволь подготовить жену к мысли, что наверняка придется расплачиваться за его отдых по приезду домой.

Коссек-ага вошел в телефонную кабину под номером два, приложил трубку к уху и услышал голос Нурсолтан-эдже.

— Коссек, салам алейкум! Как у тебя дела?

— Нурсолтан, я здоров, как бык. Как вы без меня там? С деньгами обходитесь?

— У нас все в порядке, Коссек, не волнуйся. А что, может тебе деньги нужны?

— Нет, Нурсолтан, но просто эта путевка стоит бешенную сумму — двести восемьдесят рублей!

— Вот как, то-то я удивилась, что бесплатная! Ну ничего, лишь бы была польза для тебя. Выплатим...

— Что ж, как говорится, каждый слепой должен хоть один раз потерять посох... В следующий раз будем умнее. Только и ты хороша, все твердила, поезжай, да поезжай, — ворчал в трубку Коссек-ага.

— Так кто же знал, ведь Курдов так сладко говорил, бесплатно, мол. Ладно, теперь уже что переживать?

— А кто сейчас работает на моем месте? — поинтересовался Коссек-ага.

— Младший брат Курдова.

— Понятно... Каждый тянет руку к собственному рту. Ну ничего, осталось уже мне здесь недолго, скоро приеду, там посмотрим, кто будет работать на транспортере. Передавай всем привет, до свидания!

— До свиданья, Коссек.

Время разговора закончилось. Коссек, выходя из почтамта, размечтался: «Скоро вернусь на завод, буду еще лучше работать, ведь до курорта тоже справлялся, а теперь, когда набрался сил, то уж смогу полторы нормы выполнить».

Наступил и последний день отдыха. Коссек-ага, купив сувениров детям и жене, с удовольствием собирался домой.

Вот и Ашхабадский аэропорт. Его никто не встречал, так как он специально не сообщал о времени своего приезда. Взяв такси, Коссек-ага всю дорогу с нетерпением ждал минуты встречи со своей семьей. Подъехав к месту, где должен находиться его домик, Коссек-ага остолбенело глядел по сторонам. «Боже мой, что же это такое?» Крыша дома была сорвана, стены порушены, а на груде этих развалин с веселым шумом играли соседские ребятишки.

Каким бы спокойным ни был человек, но при виде такой картины на месте своего жилья, невольно встревожишься. На какое-то время у Коссека-ага земля из-под ног начала уходить. Но, взяв себя в руки, он обратился к детям:

— Ребята, а где же моя Оразгуль?

— Они с каким-то дяденькой все вместе куда-то уехали.

Коссек-ага ничего не понимал. «Где же мне узнать, что произошло?» — мелькало в голове яшули. И он решил отправиться к брату жены, уж тот должен был знать, что случилось. «Может быть балка потолочная не

выдержала и обрушилась? Лишь бы все были живы!» — с надеждой, почти мольбой думал Коссек-ага.

Миновав железнодорожную ветку возле топливного склада, Коссек-ага вышел на улицу Халтурина. На углу улицы Коссек-ага почти столкнулся с Курдовым. Забыв о досаде на председателя профкома, яшули кинулся к нему как к самому близкому человеку.

— Что с моей семьей, ты не знаешь?

Курдов с удивлением разглядывал Коссека-ага.

— Ты не хочешь даже для начала поздороваться, а? Вон ты каким здоровяком вернулся?

— Я спрашиваю, что с моей семьей? — перебил Курдова Коссек-ага.

— Не волнуйся так, все нормально. Пойдем я покажу тебе твою новую квартиру, где уже два дня живет твоя семья. За тобой лишь осталось новоселье справить как ты на это смотришь? Правда, не подумали мы, что чуть до обморока тебя не напугали. Ты уж извини... Ну что ж, пошли. Здесь недалеко.

Они остановились около нового дома, построенного по типу коттеджа.

— Вот, полюбуйся на свой новый дворец! — гордо произнес Курдов. — Ну, смелее заходи в свой дом! Правда красавец?! Да, и еще, на последнем заседании профкома все единодушно решили, что и на следующий год тебя отправим отдыхать, и опять бесплатно, доволен?

Коссек-ага был не в состоянии выговорить ни слова, а только растерянно улыбался. С трудом переведя дух, яшули выговорил наконец:

— Ну, спасибо, вот порадовали... Теперь и поработать можно...

ВОЕННЫЕ БЫЛИ ГОДЫ

Они шли в сторону запада, зажав лопаты под мышками. Большинство — женщины, еще подростки лет тринадцати-четырнадцати да совсем уж преклонные старики. Среди них — Мерген-ага. «Эх, вернулись бы с фронта парни, которые всякое дело разумеют!..» — сокрушенно размышлял он и, обернувшись, хотел, видно, что-то сказать своим спутникам. Но его опередил другой ста-

рик, шагавший позади остальных, — длинный, тощий, в легком потрепанном халатишке.

— В... во-во-вот бы н-нам, к-к-как у в... во-военных, — ни к кому не обращаясь, заговорил он хрипло, заикаясь на каждом слове, — те-телогрейку бы но-но... но-венькую, ва-ватную!

Он ладонью смахнул слезы, от холода выступившие на глазах...

— Лепешку бы из тандыра, с колесо величиной, да еще кокурмы с кошачью голову в брюхо закинуть, — сразу отозвался кто-то другой спереди, — оно бы и телогрейки не надо, и никакой тебе мороз нипочем.

— А еще лучше как¹. Сжуешь в одиночку целый виток — тебе будто угольев горячих насыпали, — сразу перехватил тему разговора еще один старик.

— Ежели бы оно так — уж верно посеяли бы лучше нынешнего...

Толковать дальше про посев охотников не нашлось. Что проку? Как говорится, из одних слов не сварить плов... Шли молча, опустив головы. Только из женщин одна-две, что побойчее других, — как и все, в выцветших халатах, какие на голову накидывают, а на работе надевают в рукава, в платках до самых бровей, сутулые от вечного переутомления, время от времени поднимали глаза на стариков, ожидая, скажут ли те что-нибудь еще.

— Да уж пора бы вам, уважаемые, — проговорила наконец одна из молодых, — уста нам помаслить да подсластить хоть чем ни придется...

— Еще немного потерпите, — сразу отозвался Мерген-ага, — мужества наберитесь. Будут вам и теплые ватники, и жаркое из годовалого барашка.

Он первым поднялся на берег арыка, русло которого еще с прошлого года было занесено сухими стеблями лебеды, верблюжьей колючки. Остановился, не спеша огляделся. Ширина арыка — метра два, да глубина — приблизительно метр. Чтобы установить, как глубоко промерзла земля, Мерген-ага с силой отвесно ударил в нее лопатой. Раздался звон, лопата подпрыгнула кверху.

— Вся промерзла, — обеспокоенно пробормотал старик.

¹ Сушеная дыня.

В ту же минуту из русла арыка, который срезал в этом месте устье магистрального канала Гатакар, образовывал колено и тянулся далеко на юго-запад, взметнулся к небу густой дым с пламенем. Это пришедшие на очистку русла подпалили сухие травы — чтобы хоть немного обогреться и оттаять промерзшую землю. Мерген-ага — старший над ними — от места, где зажгли костер, начал отмерять каждому участок для работы. Немного погода вдоль всего русла слышался только лязг железа о мерзлую землю да глухой стук комьев, которые взлетали на гребни вдоль обоих берегов и отсюда сыпались вниз, на плечи работающих. Чтобы удобней было копать и швырять землю кверху, все они — мужчины в длинных чекменях, женщины в халатах — полы одежды подвернули себе под пояс.

— Не подкапывайтесь под откосы, — наставлял Мерген-ага, с особой заботой приглядываясь к молодым, у которых еще кости не окрепли. — Прямей срезайте землю, прямей, отвеснее!

— Вай, до крови ладонь мне натер черенок лопаты! — пожаловался кто-то из подростков.

— А ты пот со лба возьми на ладонь да размешай не торопясь, — посоветовала, не поднимая головы, одна из женщин постарше.

Один из парней, с виду лет четырнадцати, в этот день работал без настроения. Он совался то в один, то в другой конец отмеренного ему участка, а то вообще бросал лопату и выбирался наверх, на самый гребень рва. Наконец кто-то заметил и открыто, злобно посмеялся над ним.

— Был бы мой отец здесь, — сразу вскипел парень, — он бы тебе показал, как насмехаться!

Видно, он вконец расстроился. Рукавом халата утер слезы на глазах, потом нос — и, похоже, готов был направиться прочь от арыка. Но тут к нему подошел Мерген-ага.

— Ты, паренек, не перекладывал бы лопату из одной руки в другую, — заговорил старик таким тоном, будто ничего особенного не заметил. — Крепко держи, точно сам Азраил — посланец божий! Ведь не зря сказано: камыш слабо ухватишь — ладонь себе порежешь. Так и здесь: себе же ногу разmozжишь, коли лопату крепко держать не станешь.

Сам он принялся помогать парню — стал на его участке копать грунт, выбрасывать наверх сухие стебли. Поработав немного, спросил как мог ласково:

— Ну, а письма получаешь от отца?

Парнишка не ответил, только шмыгнул носом и, воткнув лопату в землю, стал глядеть куда-то в сторону.

— Мужества им там побольше бы, верблюжонок мой, мужества, — снова заговорил Мерген-ага. — Пока еще неясно, что там к чему, чем кончится... А наше дело — работать, пояса потуже затянув. Труд — он все преодолеть сумеет.

Похоже, парнишка уразумел суть наставлений старого Мергена. Приободрился, голову поднял. За черенок лопаты ухватился покрепче. Отправился на дальний край отмеренного ему участка и принялся копать, вкладывая в работу всю силу.

— Братец, ты мне все глаза песком запорошил, — минуту спустя пожаловался старик, работавший с подветренной стороны от него. — Вот уж верно говорится: лучше лошадь у меня отними, чем силу...

Парень в первую секунду даже опешил, остановился, подался назад.

— И по-другому говорят, верблюжонок мой, — сразу смекнув, в чем дело, откликнулся Мерген-ага и осуждающе глянул на старика. — Ежели сам не управляешься — ох и много таких, кто глаза тебе песком засыпает...

— Эх, будь ты проклята! — с досадой выругался еще один из работающих, без пользы ударяя лопатой по глубоко промерзшей, так и не оттаявшей земле. — Если б сюда лом или кирку...

— Это ты брось — если бы да кабы, — снова послышался голос Мергена-ага. — Сделаем, своего добьемся — вот и весь наш разговор!

Отряхнув полы своего халата от песка и пыли, он направился было в другой конец работающих — на очистке. Но вдруг остановился, ладонь козырьком приложил ко лбу:

— Бех... вроде вон там, в зарослях, чей-то тельпек островерхий виднеется?

Ему никто не ответил — со дна арыка ничего не видать вокруг. Присмотревшись, Мерген-ага хотел высказать предположение — кто же там может быть. Но маль-

чуган в островерхом тельпеке уже выскользнул из зарослей сыркына и, с трудом переводя дух, приблизился к арыку.

— Бушлук! — тонким голосом, ни к кому в отдельности не обращаясь, выкрикнул он. — Бушлук за добрую весть! Селим приехал!..

Все будто по команде бросили работу, многие сразу стали карабкаться на откосы, вылезать на валы вдоль берегов, вытягиваясь здесь в длинную вереницу: остальные последовали их примеру. Все как один уставились на парнишку, как будто видели не его, а Селима. Слышались радостные восклицания, лица у людей посветлели. В первые минуты никто не мог произнести ни слова. Первым заговорил Мерген-ага.

— Бе-е, неужто? — спросил удивленно и сам ответил: — А чего ж, вполне возможно! Ну прямо будто мир сделался шире, светом озарился!.. А ты, парень, — он обратился к пришедшему, — сам видел Селима?

— Ну, конечно!

— И как он, здоров?

Парень лупал глазами, не зная, что ответить. А Мерген-ага уточнил вопрос:

— Шинель на нем как... ты не заметил? Пустой рукав не болтается?

Мальчуган только плечами пожал.

— Да-да т...т-ты, Ме-ме-мерген, б...бо-бога благодарю, что ж-ж-живым-то вер-вернулся! — не выдержал старик-заика, выразив, как умел, общую радость.

— Может, он на костыле? — не отставал от парнишки Мерген-ага.

— С палкой, — ответил тот. И наконец, отдышавшись, рассказал, что успел узнать. Оказывается, первый раз Селима ранило в бок. Три месяца пролежал в госпитале и, когда поднялся, снова был отправлен на фронт. Ранили его второй раз, пуля задела берцовую кость левой руки. Тут-то его, подлечив немного, врачи отпустили домой — до полного выздоровления.

— Хм, это хорошо, — заключил Мерген-ага и снова спросил: — А орден есть у него?

Парнишка показал сперва себе на грудь, потом на тельпек:

— Вот тут — две штуки. И еще на шапке звезда.

Мерген-ага, видимо, был удовлетворен. Расправил плечи, по-молодому сверкнул глазами. Он почувствовал, что озяб, покрасневшие руки стал совать в карманы халата, штанов. Но вот густые брови у него снова сдвинулись, по широкому лицу пробежала тень. Он быстрым взглядом окинул всю свою бригаду, сгрудившуюся вокруг него. И люди поняли чувства старика — те, на ком он останавливал взгляд, смущенно отворачивались.

— Ай, что ж, тут ничего плохого нет! — как бы про себя проговорил он наконец. — В нынешнее время чему удивиться... Ну а ты, сынок, — он хлопнул парнишку по плечу, — добрую весть нам принес, верно. И бушлук от меня непременно получишь. Я сам под вечер занесу к вам домой, что найдется... денежку серебряную, чтобы ты халвы себе купил. А теперь не мерзни тут, беги! Мы посмотрим, быстро ли побежишь.

Шмыгнув покрасневшим носом, мальчуган со всех ног пустился в сторону села.

Люди смотрели ему вслед, и у каждого легко становилось на сердце. Мерген-ага продолжал хмуриться — работа стоит... В то же время он понимал: сейчас людям требуется отдых, им нужно поговорить, поделиться радостями и горестями. Он махнул рукой: отдыхать! Мужчины, кто где стоял, присели на корточки или привалились к валу, закурили сигарки с едким самосадам, задымили чуть не все враз. Женщины сгруппировались на дне в половине вычищенного арыка, куда не достигал холодный ветер, многие вынули из мешочков моток пряжи, спицы — и даже здесь, в короткие минуты передышки, пошла привычная работа: вязали шерстяные носки, варежки для тех, кто сейчас далеко-далеко от родных мест. Как водится, тут и разговоры, кто о чем.

— А девушка! — обернулась одна из женщин к соседке. — Ты не слыхала, кто за дочуркой-то Селимовой приглядывает?

— Да неужто ты не помнишь? — отозвалась та. — Разве не мы сами поручили сиротку той... Люся ее зовут. Русская тетка, что ходит за свиньями...

— А, девка! — тотчас подала голос еще одна. — Так ведь у самой Люси младенец годовалый.

— Ну и что? Думаешь, двоих не накормит, не пригреет?

— Люся, если сама согласилась, — вступил в беседу один из мужчин на самой кромке берега, — так уж двух ребятишек прокормить сумеет, будьте уверены.

— Ха, да у нее молока — на десятерых!..

Тотчас женщины приглушенно, однако с оживлением шушукались. Многие склонялись к мысли: пусть женщина и молодая, что залюбуешься — это пожалуй, еще не значит, что молока в ней такое уж изобилие.

— Не о том вы толкуете, — степенно заметила одна из женщин постарше. — Коли она с любовью да лаской к ребятишкам — то и выходит их лучше не надо.

— Если б не с любовью да лаской, — поддержала еще одна, — то не взвалила б себе на плечи ответственность за чужого-то ребенка...

— Послушай-ка, Мерген, — сильным, низким голосом, перекрывая остальных, окликнул бригадира дородный старик, — не знаешь, есть родственники у самого Селима либо у его жены покойницы?

— Родственники ему, — отозвался тот, — мы все, сверстник! Вот соберемся с силами, по-родственному его встретим да приветим, чтобы спокойно и без забот мог отдохнуть человек. А потом...

— Это-то верно, примем его как родного. А там еще и женим общими силами, если аллаху будет угодно. Только я хотел бы узнать, близкие-то родственники есть у него, хоть кто-нибудь?

— Да уж не один он же на земле. Только не могу я назвать ни одного из его родичей. Потому, сказать проще, не видел.

— Хмм, разве что... Ай, живым-здоровым пришел, вот и ладно!

Селим женился поздно, лет тридцать ему тогда сравнялось. И в первый же месяц войны ушел на фронт. Жена осталась больная — что-то у нее неладное было с ногой. Родила дочурку, а сама три месяца спустя умерла. В первое время не нашлось никого, кто позаботился бы о малютке. Вот тогда-та за дело взялся Мерген-ага.

— Хоть и нельзя сказать, что наш Селим без роду-племени, а вот видишь — заковырка получилась, — сказал он. — Но такого у нас быть не должно!

И сразу отправился к Люсе, эвакуированной; она в то время только что приехала откуда-то издалека с грудным ребенком, в колхозе ее определили ухаживать за свинья-

ми — для дехкан дело это непривычное. Потолковал старик с Люсей — уж как они только поняли друг дружку? — и та согласилась взять к себе осиротевшую дочку Селима.

— Ой, да какая пригоженькая! — всплеснула она руками, когда ей принесли девочку. Так и досталось малышке имя: Овадан — Красавица.

Многие из тех, кто в морозный февральский день вышли на очистку арыка, хорошо помнили эту историю. И теперь с разных сторон поддерживали Мерген-ага:

— Поможем Селиму, чего там!

— Ежели все за одно — и свадебный той ему зака-тим.

— Уж ребенка-то не покинули — и не покинем, сиротой не оставим...

— Что сумеем — все сделаем для него!

В долгие месяцы войны, когда мужчин в селе почти совсем не осталось, до чего радостными бывали встречи с каждым, приехавшим с фронта! При этом люди закидывали прибывшего вопросами — не встречал ли, дескать, отца, брата моего, сына, мужа или возлюбленного? С надеждой вглядывались в лицо солдата — как будто он мог знать обо всех одоносельчанах, которые воюют; каждый стремился повидать его, послушать рассказы. Вот и теперь люди, с мечтой о подобной встрече, торопились поскорее завершить очистку арыка, дойти до метки, установленной суровым Мерген-ага...

Когда в колхозе завершили очистку арыков, приступили к пахоте. Техника небогатая — девять сох, да еще три допотопных омача. Вот ими-то, впрягая верблюдов, быков, сохранившихся захудалых клячонок, следовало вспахать всю посевную площадь под зерновые.

— Дурбиби, крепче нажимай! — время от времени на ходу бросал Селим девушке, что держалась за рукоятки омача. Сам фронтовик, припадая на правую ногу, вел в поводу упряжных быков, подхлестывал их прутом. Когда оступался на раненую ногу, стиснув зубы глухо стонал: ымм!..

— Селим! — уже не в первый раз окликала его Дурбиби. — Не утруждай себя, ведь больно, поди, ноге раненой! Ну зачем ты отпустил погонщика? Позови его! А за ручки я сама буду держаться, уступи мне!..

— Да ничего мне не сделается, Дурбиби, — ритмично взмахивая прутом, успокаивал ее Селим. — На фронте и не такое приходилось видеть.

— Потому-то ты на столько дней прижился в доме у той женщины? — она взяла прут у него из рук.

— На целых семнадцать дней, — в тоне девушки он уловил обиду. — Конечно, я у нее в доме был чужой... Но уж она, какие только были снадобья, не жалела для моей раны. Да и покормить... случилось, у ребятишек отнимет — а сама мне. Как вспомню, будто и нога не так сильно болит.

Сколько ни нахлестывала волов Дурбиби, они все равно тащились будто через силу. И песок, переворачиваемый лемехом омача, словно нехотя накрывал заранее рассыпанное вдоль борозды зерно. А в это время погонщик волов — тот самый парнишка, которому так не хотелось работать на очистке арыка, — полеживал себе на меже с краю поля.

— Эй, парень! — окликнула его Дурбиби, когда упряжка приблизилась к этому месту. — Что у тебя, совсем нет стыда? Разве не знаешь, у Селима нога больная?

Парень, ни слова не говоря, поднялся, шагнул к ней. Потянулся к рукояткам омача, за которые держался Селим.

— Давай на свое место! — прикрикнула на него Дурбиби, выпуская уздечку, сама переходя к омачу. Но Селим не отдал рукоятки. Только скинул с плеч шинель, протянул девушке. А сам на волов: чув-в!

— Ты зачем это? — воскликнула она, не зная, куда деть шинель. — Холодно ведь, простынешь! — Поглядела на его спину, встревожилась еще сильнее: — Селим, ты ж весь вспотел. Не снимай!

— Да не будет мне ничего! А ну, парень, тяни. Хайт, чув-в-в!..

Волы, тяжело раскачиваясь, потащили омач. А Дурбиби осталась у межи, она как бы против воли принюхивалась к запаху мужского пота, исходившего от шинели. Сама все глядела вслед Селиму, который удалялся, двигаясь вдоль борозды.

«Не растравил бы рану!» — думала о нем с чисто материнской заботой.

Когда Селим, дойдя с упряжкой до края поля, крикнул на волов: «Гайт, заворачивайте!»—Дурбиби вздрогнула, застеснялась.

— Тяжелая наверно, — обернувшись, проговорил Селим. — Кинула бы ты ее на межу!

Оставив омач, подошел к девушке, взял шинель, надел внакидку и зашагал к другим пахарям. Дурбиби, подойдя к омачу, взялась за рукоятки, но из-под приспущенных век все глядела вслед Селиму. «А шинель-то как ему идет!» — думала про себя.

— Ты, что, спишь на ходу? — прикрикнула она, обращаясь к парню — погонщику волов. — Если душа в тебе живая, так погоняй! У меня уж и так руки отрываются...

— Ну и голосок у тебя! — недовольно проворчал парнишка. — Прямо аж сердце у меня готово лопнуть...

— Не приведи бог! — издали пошутил Селим. — Верно, полегче б тебе нужно работенку.

Дурбиби ничего не говоря, все смотрела ему в спину. А он уже подошел к тому краю поля, где закончили пахоту и теперь женщины с ребятишками борону тянули по бороздам.

— Посильней нажимайте! — посоветовал он детям, что стайкой расселись на дощатом помосте бороны. — Тогда земля влагу лучше сохранит, пока вода пойдет по каналу.

Не довольствуясь этим, он с гурьбой мальчишек отыскал увесистый камень и закатил его на борону.

— Мерген-ага, — затем обратился он к старику, ведущему верблюда. — Ну-ка и мне дайте недоуздок, поведу немного.

— Ты бы не перенапрягался, братец, — посоветовал Мерген-ага, передав недоуздок и шагая рядом. — А вообще, не скрою, на весь год доля декханина бывает в одном-единственном дне.

— Я в районе задержался по пути, был на собрании, — начал рассказывать Селим. — Там руководители обещали: поможем, дескать, вашему колхозу. Ну, ежели повезет, урожай добрый снимете в нынешнем году, прорежи далатасте. У меня вся надежда, Мерген-ага, на зерновые.

— Но ведь еще и вода тоже!

— Тут найдем средство!

— Только бы самим не оплошать...

— Вот это верно, Мерген-ага, выдержка требуется.

Еще в тот день, когда Селим приехал, старик первым явился к нему в дом. Как водится, поздравил с благополучным прибытием. Потом короткую молитву прочел в помин усопшей жены.

— Не убивайся, братец, — посоветовал ему. — Все устроится, потерпи только малость. А там и дочку к себе возьмешь.

— Да, конечно, — покивал тогда головой Селим.

И вот сейчас Мерген-ага, не щадя фронтовика, снова хотел было заговорить об этом. В последний миг передумал: «Закончим сев, тогда уж...»

— Отдохни-ка теперь, а недоуздок мне давай. Тебе вредно утомляться.

— Мерген-ага, да я вовсе не устал! — отдав недоуздок, Селим пошел к другим пахарям.

— Огрехов не оставляйте! — вскоре слышался его голос. То и дело он сам брался за рукоятки омачей. И пахари, с которых горячий пот сыпался градом, глядели на него с завистью и уважением.

Селим чувствовал на себе эти взгляды. От них он ощущал бодрящую легкость во всем теле. И потому, когда ближе к обеденному перерыву, колхозники один за другим потянулись к полевому стану, он снова подошел к упряжке, на которой работала Дурбиби.

— Пойди-ка чаю выпей, отдохни, — предложил он девушке, решительно берясь за рукоятки омача. — Мне тоже поработать хочется.

— Селим-ага! — позвал парнишка-погонщик. — И нам бы пора на стан. Похлебки могут не оставить!

— Оставят. А нет — на фронте, бывало, по неделям голодали, ничего...

— Бех!..

— Вот тебе и «бех!» Погоняй волов-то. А ну, чув-в!.. И потом, брось ты это «ага!».

Он искоса поглядел на Дурбиби, которая все не уходила — слушала, носком сапога ковыряла землю. Добавил с усмешкой:

— А то, гляди, девушки станут говорить: вах, какой старый у нас председатель колхоза!

— Ай, я ничего...

— То-то! Вон Дурбиби, верно, уж подумала так...

А она, все еще не уходя к стану, размышляла о другом: «По неделям, говорит, голодали. Видать, натерпелся, иначе бы не вспомнил...»

Селим с упряжкой шел и шел вперед, спотыкаясь о комья земли, вывороченные корни, стебли сухой травы. «Дурбиби уже подумала...» — вспомнив это, девушка направилась к полевому стану.

— А, девка! — изумленно округлила глаза первая же из женщин, работать, а сама только любишься? Разве не так?

— Чего ж ей, — откликнулась дородная повариха, разливавшая похлебку в деревянные плошки.

Дурбиби вся напряглась, кровь хлынула в лицо. Словно ее ударили...

— Да... я его прошу: дай, мол, помогу, а он... — начала она оправдываться, но в сознании стучало: «Вот оно! Я к раненому с заботой, ничего дурного не было в мыслях...»

— Право, ему тяжело, бедняге, — вставила еще одна женщина.

— Уж это верно. А у самого глаза вон какие — так и горят!

— Это у кого же? — Селим прихрамывая, неслышно подошел к стану вместе с парнишкой-погонщиком.

— Селим-джан, — смутившись его неожиданным появлением, за всех ответила повариха. — Да уж не красней ты, ровно молодуха. Поди, налью тебе похлебки!

У каждого из работающих в поле была припасена деревянная либо глиняная миска. Только у самой поварихи — миска с выщербленным краем.

— Вах-эй! — женщина повертела ее в руках, обратилась к обедающим: — Ну-ка, освободилась у кого посуда? Неладно гостю подавать такую.

Освободилась у Мергена-ага мелкая деревянная плошка. Вылизав остаток похлебки, он проговорил:

— Вылижу — не наемся, залатаю — не оденусь. А все равно — оставлять негоже... На-ка, гостю нашему налей до краев!

Он протянул плошку поварихе.

— Давай, давай! — подбодрил Селим, заметив, что та колеблется. — Нашлась посуда, лучше и не нужно!

«Вот молодчина!» — про себя порадовался Мерген-ага. Ладонью вытер усы, ласково глянул на Селима:

— Так что, братец, получим ли мы трактор наконец?

— Ох, про это даже и снится! — попробовал отшутиться Селим.

— Сам говорил: в районе, мол, на большом собрании...

— Мерген-ага, — Селим стал серьезным, — уже говорил я старикам нашим и снова повторяю, вам отдельно: для меня взять на свои плечи ответственность за колхоз и всех колхозников — лучшего не надо, все равно что в озеро медовое меня окунули. Но уж конечно — не с омачом да сохой увидим мы светлые дни! Гусеничный трактор мне в районе обещали, не сегодня — завтра. Думаю, верить можно.

— Хай, вот хорошо-то!

— Не сглазить бы!..

— Говорят, гусеничный — даже лучше, чем СТЗ. Селим — он сумеет!

— Братец Селим, гляди, какую мне косточку дали из дому. Ну-ка протягивай плоску!

— Да вы что! Ешьте сами, пахота ведь еще не закончена...

СВОИМИ РУКАМИ

Весна... Время изумительное, время радостных надежд. Поля наряжаются в халат из зеленого бархата. По склонам холмов переливаются, волнуемые теплым ветерком, цветы — алые, желтые, белые. Люди целыми семьями вышли полюбоваться весенним цветением полей. Вон кое у кого в руках уже целые букеты цветов.

— Идем прогуляемся! — предлагаю я жене.

— А про этого озорника ты забыл? — кивает она в сторону нашего малыша. — Долго ли простудить...

— Пойдем! — не сдаюсь я. — Ничего ему не сделается.

Жена колеблется. Взглядом окидывает комнату — во что бы ребенка потеплее укутать. Через окно я вижу: к нам во двор входят три женщины. Две из них родственницы моей жены, третья — незнакомая. Ей лет около тридцати. Сразу можно заметить: какая-то придавленная, будто испуганная. Вот и улыбнулась, безрадостно, тускло.

Незнакомка оглядела наш дом, деревья в саду — и подавила горестный вздох, я заметил. Еще мне показалось в сердце у нее затаилось темное чувство зависти к людям. Чего-то ей самой в жизни не хватает... Вон какая прихотливая морщинка змеится между бровями... И глаза безжалостные, будто ей душу обожгло.

Но это впечатление держалось недолго. Может, нашей гостье только на минуту взгрустнулось, тяжесть легла на сердце, и сразу все прошло. Она выпрямилась, вскинула голову. Искорки надежды сверкнули в глазах. А на щеках веселые ямочки заиграли.

Жена моя облобызалась с обеими родственницами, оглядела незнакомку, коротко вскрикнула: «Вий!» — и устремилась было к ней. Та глядела на нее с чуть насмешливой улыбкой: дескать, что, не признала? Жена, постояв секунду, проговорила тихо:

— Акгозель? — потом кинулась, схватила гостью за плечи, затрясла: — Подруженька!.. Неужели ты?! Нет! В самом деле?.. Ты и есть?

Та молчала, только кивала головой. Всех трех женщин пригласили в дом, усадили. Жена не отрывала глаз от лица нежданной гостьи:

— Ох, значит, ты жива!.. Как говорится: не умер, так потерялся, все одно... Времени-то пролетело! И вдруг — ты, тебя вижу!.. Ну, как живешь, рассказывай!

Жена, радостно улыбаясь, сыпала вопросами, торопилась поскорее узнать все про давнюю подругу.

— Куда же ты, милая, от нас переехала? Помню, отец твой был упрямец, спорщик. Говорят, с председателем не поладил... Из-за этого, наверное, вы и уехали? Вах, лет-то сколько миновало! Ну, как ты опять к нам попала, голубушка? Насовсем вернулась?

Ее неподдельная радость, живое любопытство подняли настроение Акгозель. Глаза у нее засмеялись, потеплели. Вот теперь стало видно, что женщина она привлекательная. Однако стоило приглядеться, видно было: за своей внешностью она следит не слишком тщательно. Волосы подобраны неаккуратно. Серебряные украшения нацеплены как попало. Темные глаза подведены, полувыщипанные брови, ресницы накрашены густо, но, видать, краска давно уже не подновлялась.

На бесчисленные вопросы моей жены Акгозель отвечать не спешила. Только проговорила тихо:

— Я недавно сюда приехала. Жить и работать устроилась неподалеку от твоих братьев. А как услышала, что у тебя ребенок, дай, думаю, схожу поздравлю...

— Вот и хорошо! Спасибо тебе! Ой, погодите немножко... — Жена убежала на кухню. Обед поставила. Принесла чай, сласти. Сама уселась вместе с гостями, поближе к Акгозель. И давай вспоминать, как в школе вместе учились. Шутят, смеются обе. Родственницы предостерегают: «Не слишком-то болтайте, ты, голубушка, за обедом поглядывай». Сами отправились нанести визиты соседям: дескать, сегодня же и восвояси, надо всех обойти. А обе подруги только и знают свое.

— Помнишь, — говорит с воодушевлением моя жена, — когда учились в седьмом классе, каждый из мальчишек стремился на первой парте сесть рядом с тобой! Ведь ты красавицей была, помнишь, голубушка?

Акгозель тяжело вздохнула. Взяла ребенка из рук моей жены.

— А у тебя, — не унималась та, — сколько уже ребятшек? А муж красивый? Хорошо живете, не ссоритесь?

Гостья — ни звука в ответ. Голову склонила, сидит, уставив глаза в одну точку. Позабыла, что ребенок у нее на руках, ладонь прижала ко лбу. Жена заметила, наконец, что у подруги и душа не на месте, сама встревожилась. А малыш догадался, что нет к нему обычного внимания и ласки, захныкал, ручонки стал тянуть. Тогда мать взяла его на руки.

— Здорова ли ты, милая? — спросила она у Акгозель.

— Здоровье-то есть... — нехотя ответила гостья и глаза отвела: — Скажи, ты сама выткала вот этот ковер?

— Нет, купила готовый.

И Акгозель опять умолкла, глаза вперила все в ту же невидимую точку. Однако выдержки хватило ненадолго.

— Спросила тебя про ковер... — Акгозель всхлипнула, — и сдержаться нет сил... Свекровь мою вспомнила, голубушку...

Лицо Акгозель посерело, точно золой в него кинули. Она платочком утерла глаза, сокрушенно махнула рукой: дескать, своими руками натворишь, тебе же и выйдет боком... Проговорила будто про себя:

— Стоит она, свекровь моя матушка, перед глазами и не уходит... Вот, сейчас двери раскроются и войдет с протянутыми руками... Ох, убить меня мало!..

Жена моя не на шутку встревожилась:

— Милая, зачем ты себя мучаешь? Есть здоровье — не это ли главное?

— Да, подруженька. Но человек не умеет ценить здоровье, мало ему... Ох, рассказала бы я, что пережила в те дни, когда и здоровой была и все как будто ладно... Огорчать тебя не хочется...

Но секунду спустя она взяла себя в руки и заговорила ровнее:

— Значит, мужа моего звали Ашир. Парень спокойный был. Такой светловолосый, здоровяк...

Она поперхнулась, секунду молчала.

— Ох, а другой — тот из соседнего села... Ох, сгореть бы мне!.. Работала я в колхозной столовой, была уборщицей. И вот, парень этот... Галстучек на шее, волосы выются. Стал ходить к нам обедать, что ни день... И однажды чувствую: глядит на меня, до того пристально... Поглядел и ушел. Смутилась я, правду скажу, подруженька... На другой день приходит он снова и с ним еще один. Слышу, тот, первый, говорит своему товарищу: «До чего красивая женщина! Была бы у меня такая жена — да я бы ей не позволил руки из теплой воды вынуть, в холодную опустить». Что ему второй ответил, я не разобрала. Ну, а сама обиделась. Как же, считала себя веточкой на макушке дерева — рукой не достать... Конечно, ты могла бы спросить: а зачем надо было идти работать в столовую? Нравилось мне чувствовать себя самостоятельной, оттого и пошла работать, и не уходила, хотя Аширу и не нравилось, что я работаю. Как раз в те дни зашел об этом разговор. Я ему и брякну: если не нравится, нашел бы, мол, себе кого получше... Он в долгу не остался: может, еще и найду, говорит. Наутро Ашир уже и позабыл про все. Я, однако, дала понять, что обиду помню. Он было захотел извиниться, но я отвернулась. Да еще и повторила сказанное накануне. Ну, что после этого я могла от него услышать? Разгневался мой Ашир: «У, чтоб тебя!..» Ушел на работу, я тоже ушла. В полдень является в столовую мой кудряш в галстучке. Улыбается: «Здравствуйте! Здравствуйте!»

Уже, оказывается, узнал, как меня зовут. Разговор заводит:

— А я в магазине работаю. Вот столовой только у нас в колхозе нет. А у вас, оказывается, замечательная...

Хотелось мне узнать, женатый он или нет. Для чего, ты спросишь? А ожидала я, что скажет он: мол, если б у меня была жена, так бы с ней не обращался... И верно, почти угадала. Он спрашивает:-

— Что у тебя за муж, интересно знать? Как он может гнать жену на такую грязную работу?.. Ты покажи мне его.

Я говорю: «Это вы оставьте». Еще ему сказала, что в столовую пошла работать по своей охоте. Он помолчал, глаза на меня поднял, такие грустные:

— Красивая ты женщина, Акгозель! — и ушел, то и дело на меня оглядываясь. Вечером я без конца вспоминала его слова. Подумала: пожалуй, не любит меня Ашир. А вот Садык — другое дело... Парня того Садыком звали... Сказал: красивая...

Акгозель рассказывала тихо, понурившись. Но вдруг оживилась:

— Ох, подруженька, не вспоминать бы мне все это, сердце себе не терзать!..

Жена моя горестно покачала головой, обо всем догадываясь. Акгозель продолжала:

— Как-то раз, в столовой никого не было, Садык попытался меня за руки взять. Я оттолкнула. Он мне тогда:

— Не понимаю, Акгозель, ну зачем тебе работать?

Я напомнила, чтобы свое достоинство соблюсти:

— У меня в конце концов муж есть! Что это вы, не смейте ничего такого себе позволять!

— Э, — говорит. — Видел я твоего мужа. Ходит, будто воды полные ведра несет, расплескать боится. Тихий. Оттого-то, наверное, худенькая ты... Ну скажи, зачем ты с таким живешь? — а сам все ближе ко мне.

— Что же я, особенная какая-нибудь?

— Ты?! Да ты краше всех девушек и женщин в целом мире! Вах, что это за мать, которая тебя на свет родила? Разве найдется на земле краше тебя?! Если даже ты с грязной тряпкой в руке... Ну, а если тебя в шелк нарядить...

Отбрила я его: мол, ни в чем пока не нуждаюсь, есть во что одеться, что в рот положить.

— Знаю! — говорит. — Даже в простом платье ты — картинка. Но не дает мне покоя, что ты одеваешься как попало, работа грязная.

— Так разве мне найдется другая работа?

— Отчего же! Хочешь стать буфетчицей?

Правду сказать, я и в столовую работать пошла с целью когда-нибудь сделаться буфетчицей. Ну, в тот раз промолчала. А Садык словно читает мои мысли:

— Переведу тебя на это место, ты не беспокойся. Скажу только заведующему. С ним-то мы ведь приятели, — и протягивает мне сверток. — Вот, для тебя специально достал.

Я сперва не хотела брать, он настаивал.

— Обижусь, — говорит.

Взяла я, развернула: оказывается отрез дорогой материи.

Тут Акгозель прервала свой рассказ. Умолкла, понурилась. И вдруг из глаз посыпались частые слезы.

— Вах, что мне — есть нечего было, одеться не во что? Как же я на тряпку могла достоинство свое променять?! Ошиблась я, заблудилась!.. Лестью да подарками заморочил он меня, околдовал. И вот, после этого, подруженька... Вай, да я права-то не имею подругой тебя называть! Ну, разве же смеет в глаза смотреть женщина, если она сама бросила мужа, такого душевного да мягкого, как мой Ашир?!

...Между тем Ашир почуял неладное. Спрашивает:

— Что это, Акгозель, ты в последнее время переменилась?

Будто горячих угольев мне насыпали за ворот.

— Не смейте меня подозревать! — кричу ему. Думаю: во второй раз не посмеет слова сказать. Он, однако, и не ходил за нами по пятам, а все понял... Ох, да разве найдется еще человек такой же отходчивый, щедрый душою, как мой Ашир?!

— Акгозель, — говорит он мне, — семейная жизнь — это все равно что моток ниток. Кончик надо крепко держать в руке. Выпустишь, все запутается.

Я опять на него с криком:

— Так вы, значит, против свободы женщины?! Если хотите знать, я и разговариваю с одним человеком про то, как вы меня притесняете!

Тут свекровь принялась его увещевать:

— Ашир, голубчик, ты бы не подозревал дурного... Ведь твоя жена, не заставляй краснеть ее.

Ну, а я знаю свое. И не думаю слушать мужа, по-прежнему встречаюсь с моим красавчиком Садыком.

После Ашир еще раз пытался меня образумить. Я — ни в какую. Он тогда пригрозил:

— Возьмись, наконец, за ум! В последний раз прошу!

Тут я оробела — и к Садыку:

— Не приходи пока. Муж догадался или ему рассказали... Прогнать меня, видно, хочет.

— Вах, моя милочка! Да пусть прогонит, я венок на твою голову надену. Ты и не думай горевать. Сразу иди к прокурору: мол, притесняет муж...

А мой Ашир чем дальше, тем сильнее сердится:

— Не думаешь ты значит, браться за ум.

— Как видите, — говорю.

— Что ж, тогда я... — начал он, и слова застряли в горле. Я поняла, что он хочет сказать. Предупредила:

— Дочь моя свидетельница!..

— Ну тогда!.. — он задрожал, лицо исказилось от гнева. — Ах-х ты... этакая! — схватил меня за горло, швырнул наземь: — Убирайся! Сгинь! Чтоб тебя ад поглотил!

Я так и растянулась на полу. Тотчас, однако, поднялась на ноги. Окинула взглядом нашу комнату:

— Хорошо. Уйду. И возьму себе половину всего, что здесь есть...

Побледнел Ашир, как стена, и за дверь. А свекровь тут и давай меня упрашивать, увещевать... Но только сердце мое было уже не здесь — далеко...

Знаешь, подруженька, до сего дня в ушах у меня звучит ее голос. Как вспомню, будто сердце мне кромсают ножом. Старики говорят: свекровь да невестка из одной глины, верно это, так и есть...

...Вышла я, гляжу: Ашир, а за ним — наш председатель сельсовета. Еще и не подошли они, я крик подняла. У меня-то на лбу оказалась ссадина, кровь выступила. Я на лоб себе показываю:

— Глядите, вот, вот! Каждый день такое... Только и слышу: «выгоню!» Убить грозит. Убью, говорит, и отвечать не буду... Что, не говорил?!

Раскричалась я, всех соседей на ноги подняла. Свекровь еще пытается усовестить меня:

— Пусть Ашир виноват... Помиритесь! Развод — грех великий....

И Ашир, видать, не потерял еще надежду. Ко мне руки протягивает:

— Акгозель! Не позорь ты себя! Зачем судьбу свою ломаешь своими руками?

А я и слушать не хочу:

— Не пройдут даром ваши проделки!

Он только рукой махнул.

— Мужчину героем женщина делает.

— Пробормстал — и вышел вон. Я говорю:

— Из имущества мне отделите половину, я человека пришлю, заберет.

Он даже не обернулся.

...Навсегда у меня перед глазами эта минута, поверь, подруженька. И во сне вижу. Кажется, стоит лишь обернуться, шаг назад сделать... Тут и просыпаюсь каждый раз...

...Пошла я в дом к моим родителям. На полпути встречает отец. Видно, ему Ашир обо всем уже сообщил.

— Иди, — говорит отец. — Вернись, пока ветер следы твои не замел. Не то и от меня не жди добра.

— Папочка, неужто ваше дитя наскучило вам? Лучше убейте, только не говорите: «Возвратись!..» Вот, на лоб мой поглядите, и показываю ему царапину.

Отец сперва и слушать не хотел. Потом все-таки смягчился: как же, родное дитя... Опечалился:

— Вах, дочь моя, не видать бы мне на склоне лет подобного бесчестья!

Матушка моя, правда, сокрушаться особенно не стала. Дескать, горемычная доля у всех длиннополых, у баб, значит...

Пять дней миновало, является к нам председатель сельсовета. Я ведь ему заявление о разводе подала. Пришел с этим заявлением в руках.

— Знаешь, милая, мне сдается, дело это ты по ошибке совершила. Ну, а Ашира тоже мы осуждаем. Не надо никаких разговоров, иди-ка обратно к мужу.

Отец также принялся меня уговаривать. Тут мать им на подмогу:

— Кто лежит, как колода, — одиноким всю жизнь пролежит. Нечего вам кидаться, будто кошка на собаку. Помиритесь.

Не действуют на меня их слова. Только еще выше я задираю нос. И виновной себя считать не думаю.

— Ничего, — говорю. — Ашир еще найдет получше меня, пускай себе женится...

Так-то вот, подруженька, и оборвалась у меня семейная жизнь.

И стала я Садыка поджидать. Скандал поутих немного, теперь, думаю, увидимся. А его нет и нет... У меня сердце тревогой стиснуло, места себе не нахожу. Наконец приходит, хмурый, пришибленный какой-то. Я к нему:

— Садык, милый, что с тобой? Нездоровится?

Обнимаю его. А он так нехотя меня за руки берет:

— Знаешь, Акгозель... Вот оно какое дело...

— Да что?!

— Ревизия была в магазине... Обнаружили недостачу...

Я ни минуты не раздумывала:

— Увези меня отсюда. Уедем! Вместе в колхозе станем работать все возместим...

— Не дают отсрочки...

— Что ж будем делать?

— У тебя есть какие-нибудь вещи?

— У меня... Что ж у меня есть-то, кроме двух старых паласов да еще двух одеял заплатанных?

— Ну так у отца спроси!

— Садык, что ты говоришь? Как это у отца сейчас просить? Да и что у него есть у самого?

Садык мой тяжело вздыхает. Мне хочется его утешить. Он, однако, растравляет мне душу вконец.

Ты, — говорит, — сама теперь думай, как устроить свою жизнь. А я не знаю, в какую щелку мне запрягаться... Только бы денег достать на билет, уеду, с глаз долой.

— Эх ты! — тут же я все поняла. — Жизнь мою исковеркал, недостойн ты звания мужчины!

Поднялся Садык — и прочь от меня. Едва только скрылся он с глаз, является незнакомая баба, — длинная, сухая, точно кол обожженный. Рожи кривит, сама от

злости надувается, будто глиняный кувшин, и прямо в волосы мне норовит вцепиться:

— Я тебе покажу! Мужа отбивать?! Где Садык? Это ты его с пути сбила! Череп тебе разбить мало! Нет, вы поглядите на эту бабу бессовестную! Постыдись, ох, постыдись, негодная!

Хорошо — не видала она, как Садык от меня только что убежал. Кое-как я уговарила эту тетку, она оставила меня в покое.

Вскоре я узнала все: уволили Садыка с работы из-за меня, «за внесение разлада в чужую семью». А когда он сдавал магазин, обнаружилась и недостача. Удрал он, никто не видел и не знает куда. Хоть бы от меня подальше!.. Но ребятишек осталось — куча, вот их-то жалко...

Кажется, Акгозель завершила свое повествование. Умолкла, дух перевела. Но жене моей показалось недостаточно:

— Дальше-то что было, подруженька?

— Дальше... Год спустя доченька моя умерла. После этого я не хотела дольше оставаться в своем селе. Ашир — женился, как я и предсказала. Ну, а потом что проку жалеть?.. Думаю, не стану я сокрушаться да вспоминать, взяла и переехала к себе на родину, к городу поближе.

— Хорошо устроилась теперь?

— Вроде, неплохо... Ай, милая, разве нужны мне все блага земные. Вот если б доченька была жива!.. Вспоминаю, как, бывало, мы с ней гуляем и вдруг Ашира встретим невзначай... Правду сказать: умерла она и для меня кончилось мученье. Ведь то и дело бедняжка плакала, звала: папа, папа!.. А у меня сердце будто кромсают на части... Выпила я, подруженька, горе, до самого доньшка. От того, что много о себе понимала. Самостоятельности захотела, да не там искала, где нужно. Тут-то несчастья меня и подстерегли...

Так завершила Акгозель свою трагическую повесть. Я, однако, не мог винить во всем происшедшем только одного Садыка, или, допустим Ашира. Возможно, потому, что я мужчина? Трудно сказать... Только вдруг уютной показалась моя светлая просторная комната.

Стояли майские пригожие дни. Солнце весело светило, но не жарило, как в разгар летнего зноя. Семьи, где были взрослые дети, что называется на выданье, спешили устроить свадебные той. А если не свадьба была причиной, то любое семейное торжество старались отметить именно в эту прекрасную пору. Вот и сегодня на соседней улице устраивали той. Мейлис-ага, глава семьи, с утра отправился на той к соседу Чары-ага, а его домашние собирались пойти на празднество попозже. Сын Мейлиса-ага, Эсен, удобно расположившись на ковре, пил гок-чай, а мать, Джерен-эдже раскладывала и тут же увязывала в традиционные узлы из платков подарки, сладости, собираясь на тот же праздник. Двери дома были распахнуты настежь. Не успев собраться, мать и сын увидели, как появился отец, одетый в длинный халат, в лохматой папахе на голове. Мейлис-ага был мал ростом, неказист, и даже такая одежда не делала его внушительнее. Отец, направляясь к дому, что-то недовольно бормотал себе под нос и тяжело вздыхал.

— Отец возвращается без настроения. Видимо, и сегодняшней той у Чары-ага ему не пришелся по вкусу, — заметил с улыбкой Эсен, и обратился к вошедшему отцу:

— Ты уже вернулся, отец?

Яшули ничего не ответил. Джерен-эдже взглянула через плечо на мужа и нахмурила брови.

— Не было и не будет такого тоя, который бы понравился твоему отцу.

— Э, ты-то хоть помолчи, занимайся своими делами!

Произнеся это, Мейлис-ага скинул халат, бросил его на диван. Стянул с головы тельпек и стал обмахиваться им.

— На тое полное изобилие. Не жалеют средств. Вот и сегодня не один котел с шурпой дымится во дворе, и дограмы¹ так много, что кажется будто верблюды случайно зашел в комнату и присел отдохнуть, даже из окна видно. Но... не в этом дело... — горестно вздохнул Мейлис-ага, махнув рукой.

¹ Дограма — национальное туркменское блюдо.

— Ну в чем же дело тогда? — поинтересовалась жена. — И не стой столбом, пройди в комнату, да причешись, а то волосы спутались как у больной козы.

— Может мне и постричься еще? — ехидно спросил Мейлис-ага.

— Почему бы и не постричься под бритву, зачем теперь тебе эти волосы, ведь ты уже носишь тельпек и длинный халат!

Мейлис-ага, глубоко вздохнув, прошел к дивану и тяжело опустился на него. Напротив него у стены стоял шкаф с зеркалом, в котором яшули видел себя в полную величину. Длинные спутанные волосы с густой проседью, действительно, не очень-то украшали его маленькое скуластое лицо. В тельпеке лицо делалось более узким, поэтому Мейлис-ага с удовольствием его носил.

«Да, природа явно меня обделила и ростом, и фигурой. Вон Мерет-ага, Бегли-ага, Бегджан-ага всю жизнь горбились на тяжелой работе, а они ходят, ну как стройные тополя. А я, их ровесник, не знающий за всю жизнь особенных лишений, а все равно... замухрышка! Э-э... — с досадой думал Мейлис-ага и снова безнадежно махнул рукой. Не замечая, что за ним исподволь наблюдают сын и жена, яшули вновь ушел в свои грустные размышления. «Дело не в том, что я мал и неказист... Когда я работал в министерстве, и тогда был таким же! Но как встречали меня, как искали случая мне угодить, за честь считали пожать руку, без конца слышал приглашения домой. Вах, все хотели моего присутствия! А теперь... Те же люди, а стали ко мне другими с тех пор как я ушел на пенсию...»

Сын догадывался о состоянии отца. Такое настроение было у отца не впервые. Каждый раз отец возвращался мрачным из гостей, словно чернел лицом, кривил рот в хмурой усмешке. А празднества на их улице были частыми, и Мейлис-ага каждый раз отправлялся с надеждой, что вдруг его начнут принимать с тем почетом, о каком он втайне мечтал. Но каждый раз его постигало разочарование. Вот и сегодня произошло то же самое.

Эсен, изображая озабоченность за отца, спросил серьезно:

— Отец, что тебя так обидело на тое? Что ты сидишь сам не свой?

Мейлис-ага с хрипотой в голосе ответил:

— Обидно, сынок. Но, боюсь, что ты не поймешь меня правильно, а мне очень обидно... Готов биться о стену головой с досады, разве что умереть не могу...

— Вий, бог с тобой! Послушайте, что он такое говорит?!

— Гм, ну что ты раскричалась? Не рассмотревши броду, лезешь в воду, ты сначала разберись в чем дело, а потом уж причитай!

Джерен-эдже прижала руку ко рту. Она встревоженно глядела на мужа. Только взрослый сын, догадываясь о причине гнева отца, оставался спокоен и продолжал допытываться:

— Ну от чего же такое отчаяние, отец?

И Мейлис-ага начал рассказывать:

— Пришел я. Стою в тени тутовника, словно кол, воткнутый для ишака. Стою несколько минут. Никто будто меня не замечает. Если не замечают, зачем звали? Ну зачем? Да просто я понял, что эти все тои устраивают, чтобы побольше подарков заполучить. А я, пенсионер, какой ценный подарок могу приподнести? Никакой. Вот и не обращают на меня внимания. Как я раньше-то не додумался, конечно, дело все в подарках!

Мейлис-ага все больше убеждал себя и уже твердо поверил в это. Он ясно вновь представил картину, как стоял одиноко в тени тутовника и от жалости к себе нахмурился еще больше.

— Ведь не первый такой той я за свою жизнь посещаю. Когда работал, так почитай, всю республику по два раза объездил, от городов до сел. И не такие сбеда видел! Мне навстречу выходили, оказывали всякие почести... А эти?!.. Гм... Проходят мимо, ну как мимо собаки паршивой! Разве это порядок? От стыда ты готов провалиться сквозь землю, а всем хоть бы хны! Я уж было собрался уходить домой, как вдруг молодой парнишка, вроде тебя, спрашивает у меня:

— Яшули, вас уже кормили? А то я сейчас принесу дограму.

А ведь я не голоден. Сейчас на той ходят разве голодные? Хочется услышать от хозяина или его родственников, которые помогают ему, добрые слова: «Добро пожаловать, гость дорогой!» Чтобы провели руки ополоснуть, да на почетное место указали.

А Мейлис-ага чувствовал постоянную необходимость общаться с людьми. Пока он работал, он все время был среди людей, чувствовал себя нужным. А сейчас... Никому не было до него дела, и он от этого страдал, мучился. Причем Мейлису-ага больше всего хотелось прежнего почета.

Сын замечал, что отец не хочет примириться с новым своим положением. Но не видел способа помочь отцу. Эсен не знал, как уговорить отца быть более покладистым, доброжелательнее с людьми, приходить к ним на помощь в трудную минуту, а не ходить на празднества и ждать к себе особых знаков уважения.

Иногда Эсену приходило в голову посоветовать отцу отрастить бороду, чтобы он общался с соседскими яшули из равных. Сыну казалось, что если отец отрастит бороду, то, возможно, успокоится, станет более уравновешенным рядом со своими сверстниками.

Джерен-эдже пыталась по-своему успокоить мужа, уговаривала:

— Ну не ходи ты больше на эти тои, раз так расстраиваешься!

— Вах, жена, никак ты не поймешь одного, что я не понимаю, отчего люди мною пренебрегают! Те же самые, которых я в свое время устраивал на работу, даже они в большем почете, чем я. Ну вот ответь ты мне, чем я им не угодил? Что я им плохого делал? — взволнованно спрашивал Мейлис-ага.

— Этого я, конечно, сказать не могу, но и доброго делал мало, — ответила прямо Джерен-эдже. — Иначе люди бы от тебя не отворачивались. Раньше-то они были обязаны с тобой работать рядом, выполнять твои поручения, несмотря ни на что. Нравишься ты им или нет? А сейчас ты не у дел, потому и перестали тебя замечать. Видно, обижены они...

В комнате воцарилось молчание. Каждый думал о своем. Эсен первым нарушил тишину:

— Мама, я схожу в управление ненадолго, а ты приготовь мне все в дорогу. Ты же помнишь о том, что мне завтра лететь в командировку?

— Поел бы что-нибудь... — предложил Мейлис-ага.

Эсен не унимался с вопросами:

— А тебя как встретили?

Вопрос сына смутил Мейлис-ага.

— Меня-то... Да... Гм... Я же говорю, что сейчас больше всего внимания оказывают тем яшули, кто побольше хурджун приволочет, или у кого борода длиннее.

— Тебе надо было к ним присоединиться тоже, отец.

У Мейлис-ага от волнения даже щеки задрожали. Но чтобы скрыть, не выдать себя, Мейлис-ага медленно проговорил:

— Ты же знаешь Коссека-белобородого, ну, который работал у нас в министерстве сторожем? Помнишь, как он меня на свой той уговаривал прийти, и обещал, что я буду у него томадой, или распорядителем, ну... это раньше... А сегодня вижу, что и он идет к нашему соседу, думал, что подойдет и скажет: «Что ты здесь один стоишь? Пойдем в дом». Так нет, он прошел мимо, словно и не заметил меня?!

При этих словах Джерен-эдже, которая внимательно слушала жалобы мужа, не выдержала и воскликнула:

— Так ты же его обидел! Помнишь, как он у тебя просил машину, чтобы молодую невестку отвезти к родственникам, а ты отказал. Вот он и обиделся. Не ты один гордый!

— Ну и черт с ним! Обиделся! Я никогда не старался казаться хорошим за государственный счет.

Эсен не захотел убеждать сейчас отца в том, что он не всегда поступал справедливо. Сын был воспитанный в духе почтения к старшим, и постоянно думал, что взрослые сами себе дают более правильную оценку чем окружающие. Уважая седины отца, Эсен не стал заострять внимание на бывших, не всегда правильных поступках родителя, да еще в присутствии матери. Могли его слова счесть за дерзость, но про себя подумал:

«Говорят в народе, если нет у тебя пшеничного хлеба, то хоть слово доброе найди. А отец пренебрегал все время этим, когда работал. Отсюда и его неприятности, люди не забывают ни хорошего, ни плохого».

Уйдя на пенсию, Мейлис-ага ни в чем не нуждался, он был хорошо обеспечен, да и сын все время повторял:

— Теперь, отец, отдыхай. Я уже давно в состоянии о тебе позаботиться. Если ты в чем-то будешь нуждаться, то я всегда рядом и приду на помощь.

Джерен-эдже ответила за сына:

— Он пойдет на той, его уже там ждут не дождутся. Несколько раз мне напоминали, чтобы Эсен обязательно пришел.

Мейлис-ага, услышав такой ответ, еще больше насупился. «Вот моего сына ждут не дождутся, а меня... Эх... Что за времена пошли? Еще недавно я был не просто Мейлис, а Мейлис Маммедович...» — и с досадой швырнул в угол дивана тельпек.

Мейлис-ага не заметил, как уснул.

...Вот он на белой «Волге» едет по гладкой асфальтированной дороге и подъезжает к какому-то дому, во дворе которого масса народу. «Волга» не успела остановиться, как к ней навстречу устремляется торопливо группа мужчин. Мейлиса-ага под руки выводят из машины. Аромат вкусного плова кружит голову. Рядом свежуют молодого козленка. А на столах столько разных блюд, что глаза разбегаются. Чего только нет!

— Зачем же свежевать молодого козленка при таком изобилии еды? — спрашивает Мейлис-ага хозяина.

— Для вас, дорогой гость, для вас, — с приятной улыбкой отвечает хозяин. — Вы к нам приехали из такого далека, не посчитали за труд, так и нам хочется угодить... Да что там козленок, для вас и этого мало!..

— Это верно вы говорите. Только из уважения к вам я проехал этот длинный путь. Ведь и рядом с моим домом, по-соседству, тоже той устроили, но соседи никуда не уйдут, я так подумал. И вот к вам отправился...

Кто-то из гостей заметил:

— А я бы на вашем месте, Мейлис-ага, не стал бы пренебрегать соседями.

— Ну это так вы считаете, а я по-другому, ха-ха-ха! К ним только начини ходить в гости, так они потом тебе на голову сядут, закидают просьбами: то работу получи дай, то машину попросят... Знаю я их!.. Только дай поблажку!

— И все-таки вы, Мейлис Маммедович, не правы!

— Прав, не прав, закончим этот разговор и точка! — гаркнул Мейлис-ага. И проснулся от собственного голоса.

Эсен работал в геологической экспедиции в песках Каракумов и подолгу отсутствовал. Приезжал домой раз в два-три месяца. Но на этот раз он задержался дольше обычного. Родители очень ждали его приезда.

Переступив порог родного дома, Эсен с радостью ощутил привычный уют. Мать, как обычно, приготовила любимые блюда, постаралась ничего не забыть, накрывая на стол. А в отце Эсен заметил перемену: тот отпустил седую бороду.

— Сынок, что ж ты, отца не поздравил с бородой? Или не замечаешь? — спросила Джерен-эдже.

— Как же, как же, вижу! Поздравляю, отец, тебе она к лицу, — весело проговорил Эсен.

— Э-э, сбрею я ее, — вздохнул Мейлис-ага.

— Вий, что ты надумал? — испуганно воскликнула мать.

— И с бородой тот же почет, — угрюмо проговорил яшули.

Мейлис-ага, отпустив бороду, и в правду, не заметил к себе иного отношения соседей.

— Мейлис, хоть ты с седой бородой, а еще пока не стал аксакалом, — по-доброму заметила жена.

— Почему же это? Мне уже шестьдесят с лишним! Глянь, ни одного черного волоса в бороде. Если не сейчас, то когда же мне быть аксакалом? Или только на том свете мне суждено им быть, а? — и с надеждой посмотрел на сына.

На этот раз и сын не удержался, сказал то, что думал уже давно.

— Не обижайся, отец, но аксакалом не становятся из-за того, что носят длинный халат с тельпеком, да имеют седую бороду. Это надо заслужить с молодых лет и до седин. Когда ты не перестанешь делать людям доброе, бываешь внимателен и отзывчив... Так что не обижайся, отец. Людей не проведешь. Так что, пересмотри свое отношение к соседям.

Ничего не ответил Мейлис-ага, лишь ниже опустил голову:

«Может они и в самом деле правы?» — задумался яшули.

БЫЛА У СТАРУХИ ДОЧКА...

День выдался ясный, в прозрачном воздухе ни пылинки. Ветерок поигрывал усиками виноградных лоз. Мы с женой отправились в соседнее село, в гости к ее старикам родителям. Дорога недалняя. Шли мы тропинкой среди виноградников, и встреча предстояла желанная — тесть да теща зятю всегда рады. Поэтому шагалось нам легко, весело. Соловьи прятались среди темно-зеленых листьев и спелых гроздьев винограда, распевая без устали на все лады. Это делало нашу прогулку еще более приятной.

Поглядывая по сторонам, любуясь природой, мы приблизились к старому чинару, над которым уже столько весен прошумело. Сели отдохнуть в его прохладной густой тени. Вдруг смотрю: жена моя встrepенулась. Платок свой повязала и за спину конец закинула. Потом и этого мало — кромку платка прикусила зубами. Я улыбнулся, хотел спросить: мол, ты чего это? И вижу: подходит к нам, шаркая галошами на босу ногу, старушка сморщенная, лет под семьдесят.

— Здравствуй, сынок, все ли слава богу? И ты здорова ли, козочка моя?

Я ответил:

— Спасибо.

Жена молча кивнула. Старушка подслеповатыми глазами пристально поглядела мне в лицо и опустилась на траву рядом со мной. Обернулась к моей жене:

— Милочка моя, не повязывалась бы ты этой тряпкой окаянной.

— Знаете, тетушка, я обычно яшмака не ношу, — ответила жена, прикрывая рот. — Только вот сейчас, из уважения к вам...

— Брось ты ее, выкинь совсем, если уважаешь меня старушку.

И незнакомка вздохнула до того тяжело, что у меня сердце защемило. А она продолжала, да так убежденно:

— Как говорят: свинья черная ли, белая, все равно свинья: так и эта дрянь! Прежде-то внушали: так адат велит, а вам сейчас она зачем?

— Тетушка, — участливо спросила жена. — Что вас расстроило?

— Э, милая, что проку теперь жалеть...

Я теперь только вспомнил: когда мы приближались к старому чинару, моего слуха коснулись всхлипывание, стоны — глухие, будто из-под земли. Теперь я догадался, слова и жалкий облик старухи не оставляли сомнений: это она плакала. Ее потухшие глаза глядели с тоской, будто вопрошали: «Разве найдется человек, чтоб меня выслушал и посочувствовал!» Я, однако, стал осторожно выпытывать:

— Что же случилось, мамаша, вы бы рассказали...

— Ох, родимый, не приведи бог... Не скажу я, что сонной было, — в сердце не уместается; скажу — кто меня пожалеет? А, так и быть, скажу, сердце облегчу! Иначе нет для меня места в мире. Вот и сегодня не усидела я дома, не вытерпела... — старушка запнулась, закашлялась. — Так и брожу, и брожу, где моя Абат прежде работала. Вроде на сердце у меня и полегче...

У жены моей любопытство разгорелось. Она свой яшмак закинула за плечо, пытливо взглянула на старуху, с губ у нее готов был сорваться вопрос, но она лишь вздохнула. «Вах, вах-эй!» Старуха, однако, не ждала сострадания.

— Доченька, меня жалеть нельзя! Палке той зацвести, которая убьет меня...

Очевидно, эту старую женщину постигло тяжкое горе. Какое именно, я не мог догадаться. Сердце у меня ныло. Старуху мне было искренне жаль. В то время мне думалось, она себя осуждает напрасно, вина ее совсем невелика. Может, злой человек ее оклеветал? Оказалось, однако, не так. Тяжкий грех лежал у нее на совести. Но это выяснилось позже.

Старушка, видать, пожалела о том, что сорвалось с уст; помолчала, прикусила нижнюю губу. Наконец спросила как будто успокоенно:

— Вы, наверное, идете к кому-нибудь в гости?

— Да, — вполголоса, как обычай требует, ответила моя жена. — Сегодня день отдыха, вот и мы отправились матушку мою навестить.

— А ты, милая, чья же дочь?

— Айнабат-эдже.

— Вот как, из села Кипчак! Постарела, наверное, бедняжка?

— Оказывается, вы знаете мою маму...

— Как же! Да и нет во всей округе никого, кого бы я не знала или меня не знали. Опозоришься, ославят тебя на весь свет, небось, узнают все, кому и не надо... Не приведи аллах никому!

Когда человек собою недоволен — нелегко обрисовать ее внешний облик, если только ты не искусный художник. Как раз такие, трудно передаваемые черты я открывал в иссеченном морщинами лице старушки, в ее неживых навеки потухших глазах. Снова осмелился спросить:

— Уважаемая, за что вы себя корите, в чем ошиблись?

— Если б я знала, что так больно ударит...

— Вы, значит, не предвидели, что неладно получится?

— Вах, верблюжонок мой, если б знать, что совершу ошибку, разве впала бы в столь тяжкий грех?..

Проговорила она дрожащим голосом:

— Я ведь думала, что поступаю, как обычай велит, — она немного взяла себя в руки. Заговорила ровнее, я же стал внимательно слушать. — По рождению я хоть и не считаюсь святой, однако же в правилах веры, в чтении молитв считалась весьма сведущей. И знахаркой была, прославилась во всей округе. Использовала и от простуды и от нарывов, — обманывала, конечно... Так меня звали все — Тачнур-тотам. За благочестием тоже надзирала. Кто из мужчин пропустит намаз, или молодые женщины без яшмака начнут ходить, я сейчас же за воротник хватаюсь, кричу: светопредставление, мол, близится!.. Не знала я, что кара небесная тому грозит, кто старание привержен через меру...

Меня просватали за пять лет да войны. Парень был рассудительный, спокойный, звали его Аннак. Семья наша жила не без достатка. Аннак мой тоже был грамотным, приглашали его взамен муллы. Одна беда — дети у нас не выживали. Наконец выжила все же дочка Абат, порадовала отца с матерью. Я, чтобы сохранить ее от сглаза, набрала, через плечо себе повесила талисманов целую сумку. Так-то, не успела я оглянуться, — дочка у меня появилась, маленькая да пухленькая. Но отцу не суждено было долго тешиться доченькой. Началась война, ушел мой Аннак и обратно не вернулся. Ох, лучше бы мне умереть вместо него!

Старуха поперхнулась, будто в горле комок застрял. И сколько ни старалась, никак не могла овладеть собой. Слезы выступали на глазах и градом катились по сморщенным темным щекам. Жена моя все это приняла близко к сердцу. Отвернулась, скрывая волнение, принялась разглядывать птиц, по-прежнему щебетавших в глубине виноградников. Старуха меж тем утерла слезы и продолжала:

— Ай, ладно, что сделано, о том жалеть бесполезно. Только бы впредь люди не ходили той дорогой, по которой судьбу свою я загубила...

— Мамаша, нет смысла жалеть о том, что прошло, — попытался я утешить старуху.

— До самой смерти буду жалеть, верблюжонок мой! И в самый смертный час не прощу себе!..

Затем она принялась рассказывать:

— Абат, моей дочурке, исполнилось семь лет, и ее записали в школу. А мне, значит, в голову и ударило: к чему; дескать, женщине учиться? Взяла да и выкинула прочь все книжки, которые учительница принесла. Не выйдет, мол, из женщины, муллы, знай, окаянная!.. Бывало, дочка все же отыщет книжку с картинками или еще что, ко мне принесет и пальчиком тычет: «Гляди, мама, вот кукла нарисована!» А я: «Грех это! На человека ведь похожа... На том свете душу свою не пришлось бы отдать...» Дочка не больно-то все понимает, однако слушает, глазенки таращит. И в сердечке несмышленном, любовь к книгам так и не зародилась. Ведь она хоть и бегала, косичками потряхивая, однако же меня слушалась во всем ого как!.. Стыдливая стала, скромненькая, другой такой не сыскать. Ну и я тоже ни минутки не давала ей покою: как встать, как сесть, все требовала делать по обычаям — чтоб их проклятьями раздавило! — так что моя доченька и глаз поднять не смела от земли. Дальше, я ее под разными предлогами — от греха подальше — отправила к родственникам, что в песках живут. В последний год сама поехала в Теджен, вернулась среди зимы. Там тоже наши племянники, так я их обманывала: дескать, дочка моя учится в Ашхабаде. А учителей в нашем селе — по-другому: мол, учится она в Теджене. В общем, до двенадцати лет моя дочь и в глаза не видела школы. Ну, однако же, выследили меня в конце концов, пристыдили. Я — в крик:

— Вам что за дело?!

Никогда не забуду, как тогда разволновалась та девушка учительница, Аккыз ее звали. Со слезами ко мне подступает:

— Тачнур-эдже, вы в клетку посадили вашу дочь, от сверстников ее оторвали, это позор для нас всех!

Мою доченьку гладит по головке, сама продолжает:

— Когда я шла учиться, моя мать тоже: бесчестье, мол, перед людьми, лучше бы не дал мне аллах дочку занять!.. Ну, а теперь-то сама выхваляется мною перед сверстницами: опора, мол, для меня дочка... Тачнур-эдже! Ведь у вас нет другой отрады, кроме Абат. Не оставляйте же вы ее слепой! Поглядите, у вас уже сил не много остается.

Крепко я тогда рассердилась на ту девку. Однако не решилась поперек сказать. Про себя только выругала: «У, окаянная!..»

Ну, та девушка еще долго не оставляла меня, донимала подобными словами. Наконец я вижу — никуда не денешься. Тринадцать лет от роду отдала Абат учиться. Но уж и наказала ей, под страхом смерти:

— Ходи глаза в землю! Не то грех. Ведь уже взрослая девушка...

Пять дней ходит она в школу, на шестой я ее дома запираю. Но и этого мне мало. На следующий год я сама отправилась, где дочка моя учится. Вижу, она, с непокрытой головой, шутит себе, смеется с парнями... Как только сердце у меня выдержало. Стала я говорить, что неладное это дело, — никто и слушать меня не хочет. Ничего другого не оставалось мне, как помехи строить учебе Абат. Но все-таки, сколько я не мешала, дочь моя сумела четыре класса окончить. Мы в то время жили у озера Куртли, на границе песков, и в селе у нас не было школы выше четырехклассной. А уже моей Абат восемнадцатый пошел. Девушка рослая, видная — глаза черные так и блещут, косы густые, на лбу волосы колечками завиваются. И решила я: не надо больше посылать ее учиться. Так и сяк уговаривала: мол, я уже состарилась, тебе пора самой работать в колхозе. Верила: дочь мне слова не скажет поперек. Надеялась я на свое воспитание. Абат, голубушка, и в лицо-то мне прямо не смела поглядеть, нахмуриться не смела. Видать, понимала, каково матери одной растить ее без отца... Или уж знала:

баба, длиннополая, у нее смолоду судьба одна — подчиняться... Короче, не причиняла она страдания моему сердцу. И ради этого себя не жалела, на огне готова была сжечь. Вот, верблюжонок мой, как оно было, оказывается. Но я-то поняла слишком поздно, вах, горе мне!..

Старуха прервала свой рассказ. Тихо, листок не шелхнется на виноградных лозах. Только по-прежнему немолчно распевают соловьи. Мою жену рассказ несчастной Чачнур-эдже, видимо, изумил и растрогал. И не терпится ей поскорее узнать, что же дальше:

— Ваша дочь бросила учебу, потому что вас пожалела, да?

Тачнур-эдже тяжело вздохнула. И плечи у нее задрожали, ссутулились.

— «Песчинки золота не оценил — и самородка не оценишь», так говорится про людей наподобие меня. Стоило ли дочери жалеть меня, да ублажать?

И она дальше повела свой рассказ:

— В тот год я отыскала предлог такой, что никуда не денешься. Ревматизм открылся у меня. Скрутило, что не шевельнуть ни рукой, ни ногой. Вспомнила я все свои знахарские способы, желтый выюнок высушила, растерла, с табаком смешала. Давай курить. Конечно, толку никакого. Взяла шкуру только что зарезанного барана, обернула себя. Опять ничего. Поясницу себе попросила надрезать, кровь поглядела: мол, нет ли простудного... В общем все зря. Боль не унимается. Другое дело, если б мне лекарства выпить, в воде размешать... Сама-то я знала, что от моих снадобий никакой пользы не будет, однако обманывала себя и дочку, чтобы время оттянуть. Ведь надо же было оторвать ее от учебы...

— А в селе вашем не было доктора?

— Если б я доктора слушала..., — старуха, видимо, гневалась на себя. Затем продолжала:

— Ну и учителя тоже старались мою дочку не выпустить из рук. Абат в школе-то ходила понурая. Они и проведали, в чем дело. Научили ее. Как-то говорит она мне:

— Мамочка, чем так мучиться, не пойти ли вам к доктору?

Тут я вскинулась:

— Ты что, хочешь труп своей матери привезти из больницы?!

— Да не случится ничего дурного...

— А я как в зеркале вижу: унижить ты хочешь мать свою, когда ее жизнь к концу подходит...

— Мамочка, душа моя, так не говорите!

Упрашивает она меня, руки мне гладит, а в это время нежданно-негаданно является Аккыз, учительница:

— Уважаемая Тачнур, мы решили поместить вас в больницу. А пока не поправитесь, Абат за вами будет присматривать, от учебы ее освободим.

Как о больнице она сказала, опять у меня потемнело в глазах. Ну, а что от учебы дочь освободит, порадовалась я.

— Спасибо, что она за мной присмотрит. А уж с больницей не приставайте ко мне!

Так я и отбрехала, а болезнь-то не уходит. Пришлось обратиться к доктору. Какое-то он мне лекарство выпи-сал, не вспомнить... «иолотань», «малатам», тьфу! Жжется, окаянное... дочь, однако, за это время учебу все-таки закончила. Как раз вот в такую же пору, как сейчас. Виноград, как говорится, росую лицо свое омыл... Абат, моя доченька, здесь поблизости работала, на шестах лозы подвязывала, паутину смахивала. И заметила я: ходит парень один тут недалеко. Я подошла вроде бы травы накосить для скотины. Пригляделась — да ведь это сын Атанияза...

Старуха обернулась к моей жене:

— Ты из Кипчака, должна эту семью знать. Керимом зовут парня-то... О чем они беседовали, я не слыхала. А парень как увидал меня, дочери моей сказал одно только словечко. Та стоит вся красная, застыдилась... Тут, голубчики мои, такой у меня в сердце поднялся переполох... Завтра же думаю, тебя сосватаю, иначе не сносить мне позора... Сама дочери пока ничего не раскрываю. Сваты уже приходили, я сказала им: нет, мол, у нас в нынешнем году невесты на выданье. Пожалела я теперь. И когда они прибыли во второй раз, я дала согласие. Назначили цену за невесту: две с половиной тысячи новыми. Думала я, что моей дочери об этом ничего не известно. Только вышло все иначе. Как-то спрашивает она меня:

— Мама, вы это всерьез затеваете?

— Отстань! — кричу, зло меня вяло. — Чтоб тебе умереть ошипанной!..

Абат в слезы, обнимает меня:

— Мамочка, милая!.. Ведь я же,.. я...

— Чего еще?! Ох, чтоб тебе высохнуть!

Она умолкла. Потом вдруг мне на грудь клонит голову, сама покраснела. И говорит:

— Мама, я же Кериму... обещание дала.

Тут я вскочила с места, себе за воротник ухватилась:

— Кормила тебя, берегла, чтобы такое услышать?! Вай, делать-то что мне теперь?.. Люди ведь узнают... — и сама в слезы.

Старуха умолкла, видать, обессиленная, заплакала беззвучно. Губы кривились, жалкой гримасой было искажено лицо, — тяжесть непосильная легла на сердце.

— Верно говорят: «Слепа любовь». Я-то думала: дочь мне перечить не посмеет. А вышло иначе.

— Мамочка, — Абат мне говорит, — неужто вам это в радость — дочь единственную на огне сжигать? Ведь я люблю Керима!..

— Если ослушаешься, — подступаю к ней, — не пойдет тебе впрок мое материнское молоко. Не дочь ты мне тогда!

Тяжело вздохнула она, моя голубушка, головой тихонько покачала. Долго сидела молча, потом прошептала: «Даже увидеть его не смогу...» Оказывается, в то самое время Керим вот сюда пришел, к виноградникам, чтобы проститься с Абат. На другой день с утра отправлялся он в армию служить. Это уж добрые соседи для меня выведали...

Ну, а я в тот же вечер моему старшему брату дала знать, он живо — к будущим сватам. Вместе они дельце-то и сделали... и вот тут было просчиталась я. Слушалась Абат и уважала меня, матушку свою, но любовь-то сильнее. И уже в тот вечер она успела с кем-то из подружек перекинуться словечком. Дескать, за пять полтинников мама собирается меня продать. Я же, мол, Керима одного люблю... Та подружка и побеги в сельсовет, всполошила всех. Да только поздно. С рассветом явились они Абат проведать, а ее уж и след простыл. Еще в полночь за ней от сватов приехали на машине.

Старуха умолкла, подавленная. Улучив момент, жена моя спросила:

— Значит, ваша дочь догадалась, что ее в тот вечер должны были отправить к жениху? И не воспротивилась?

— Если бы догадалась, так, наверное, сыскала бы дорожку, чтобы удрать. Только не предполагала она, чтобы в тот вечер все сделалось...

Тачнур-эдже снова закашлялась.

— После уж приходят, выпытывают у меня, как да что. Важные начальники приходили. Но ничего из меня не вытянули. Не знали, что тут замешаны мои старшие братья. Позже, когда стали спрашивать Абат, она мать свою старуху не опозорила. Не тревожьте, говорит, матушку мою, я сама, говорит, вышла замуж по любви.

Так ли, сяк, месяц она проводит в доме у сватов, возвращается, поглядела я дочь мою — и узнать не могу. В лице ни кровинки, будто тряпка стиральная-перестиральная. Веки аж просвечивают. Вся будто цыпленок, что вот-вот подыхать собрался... Я так себе в ворот и вцепилась: «Вай-эй, да что же это с тобой?! Здоровая ли ты, доченька моя?» Она: ничего, мол, одно только словцо и произнесла в ответ. Я предлагаю: давай снадобья какие попробуем, не хочет слышать. Доктора, говорю, давай позовем. Абат мне на это: «Мама, у меня не такая болезнь, чтобы доктор вылечил. Вы не беспокойтесь...» Я вовсе голову потеряла: «Милостивый боже, неужто звезды твои не встретились счастливо?» Кто же мне на это даст ответ?.. Потом я подумала: а может, ребенок родится, глядишь, она и поправится. Только нет, не оправдались мои надежды. Четыре месяца прошло, слегла дочь. И всего-то сказала мне на прощанье: «Мамочка, сердце мое у Керима осталось...» Растерзать я себя хочу за эти слова, в жизни себе не прощу...

И старуха умолкла, глаза помертвели. Для меня и моей жены она стала уже как будто родная. Я знал, что каждое слово для Тачнур сейчас — мученье. Все-таки спросил, как мог спокойнее:

— И что же потом? Ваша дочь поправилась?

Тачнур-эдже ничего не ответила, будто глухонемая. Не шевельнулась, глядела куда-то в одну точку. Моя

жена поднялась на ноги, жестом повела меня: идем! Я тоже встал:

— Прощайте, мамаша...

Она словно и не слышала, не обернулась...

...О трижды проклятые обычаи старины! Подрубили их под самый корень, на истлевших ниточках только держатся. Уж вот, кажется, и не слышать про них вовсе. Но кто исцелит сердце безутешной матери, несчастной Тачнур-эдже?..

РЕДЖЕП АЛЛАНАЗАРОВ

ЧАРМАН-АГА

Повести и рассказы

Перевод с туркменского

Редакторы **Пирнепесова О., Леонтович Л.**

Художественный редактор **Моисеенко В.**

Художник **Кураев Б.**

Технический редактор **Башлыкова Н.**

Корректор **Ноговицина Г.**

ИБ №1793

Сдано в набор 30.12.85 г. Подписано к печати 29.04.87 г. И—02208.
Формат 84x108 1/32 Бумага типограф. № 2. Гарнитура литер. Печать
высокая. Натур. л. 6,0. Усл. печ. л. 10,08. Уч.-изд. л. 10,01. Усл.
кр-оттиски 10,29. Тираж 27000 экз. Заказ № 335. Цена 60 к.

Издательство «Магарыф» Государственного комитета ТССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли.

744013. Ашхабат, Хасановский пер., 16.

428019. Типография издательства Чувашского обкома КПСС,
г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 13.

